

**СЕРГЕЙ
АЛЕКСЕЕВ**

ПОКАЯНИЕ
ПРОРОКОВ

Сергей Алексеев
Покаяние пророков

«Алексеев Сергей»

2002

Алексеев С. Т.

Покаяние пророков / С. Т. Алексеев — «Алексеев Сергей», 2002

Со времен церковного раскола на Соляной Тропе жили кержаки-староверы. Мирской власти не признавали, в переписи не участвовали, паспортов не имели. И чужаков к себе не пускали – в первую очередь сторонились ученых, а те снаряжали в кержацкий таежный поселок экспедицию за экспедицией. Лишь одному из исследователей улыбнулась удача: историк Юрий Космач узнал и о жизни потомков боярских родов, уцелевших во времена раскола, и о либерее, и о сонорецких старцах. Только вот диссертация, в которой он изложил собранный материал и свою теорию смены власти, «сгинула» в архивах. Космач, неугодный и левым, и правым, и атеистам, и верующим, и новаторам, и консерваторам, смирился. О нем забыли. Но в 90-х годах тайной монархической партии, создавшей новую концепцию Третьего Рима, который должна возродить Третья династия, срочно понадобились автор безымянной диссертации под номером 2219 и его невеста, староверка Вавила Углицкая...

© Алексеев С. Т., 2002

© Алексеев Сергей, 2002

Содержание

1	5
2	35
3	54
Конец ознакомительного фрагмента.	64

Сергей Алексеев

Покаяние пророков

1

Страница

В начале марта завьюжило так, что деревня утонула по окна, а с подветренной стороны сугробы и вовсе сомкнулись со снегом на крышах, зато кромка увала облысела до желтой стерни, будто первая проталина появилась.

Ночью вроде бы ослабнет буран – и под светом дрожащего фонаря на столбе видно лишь, как поземку несет, но на восходе ветер словно с цепи сорвется и так разбежится по косограм, так всколыхнет сыпучие воздушные барханы – белого света не видать. Зимой жителей в Холомницах было всего четверо на двадцать дворов: сам Космач, старики Почтари и Кондрат Иванович Гор, обрусевший немец по прозвищу Комендант.

Так вот, на четвертый день пурги, пробившись с другого конца деревни, Кондрат Иванович с радостью заявил, что за свои шестьдесят с лишним лет подобной метели не помнит и что разлад в природе происходит от запуска ракет, которые дырявят небо, то есть озоновый слой атмосферы. Обычно Космач начинал оспаривать подобные заявления, и тогда начиналась долгая и нудная дискуссия, ибо старый служака никогда не сдавался и выворачивался из любого положения, крыл цитатами, на ходу сочиняя за великих философов, астрономов и физиков. Пойди потом поищи, откуда он что взял.

Комендант долгие годы служил на Кубе – то ли в разведке, то ли в личной охране Фиделя Кастро, а может, просто был великий выдумщик, ибо Космач иногда шалел от его рассказов о тайных террористических операциях американцев против острова Свободы, которые Кондрат Иванович с блеском предотвращал. О его боевом прошлом на самом деле никто ничего толком не знал, но доподлинно было известно, что поселился он в Холомницах вынужденно, как и большинство здешних жителей, однако тщательно это скрывал. Овдовел он рано и на старости лет стал никому не нужен, трое его сыновей и дочь еще лет семь назад вспомнили свое происхождение и один за другим уехали в Германию, за лучшей долей. Ко всему прочему, распродали не только свои квартиры, но и отцовскую, будто бы по его просьбе купив взамен избу в глухой деревеньке Холомницы. А это сто семьдесят километров от областного центра.

Однако несмотря на свое положение, Комендант хорохорился, был самым бойким и активным даже в летнюю пору, когда деревня заселялась дачниками. С осени все разъезжались по зимним квартирам, и Кондрат Иванович начинал сильно тосковать без общения, приходил к Космачу раза два-три за день и иногда становился надоедливым, особенно если затевал какой-нибудь бесполезный спор.

За эти метельные дни Космач даже соскучился по нему, ничего оспаривать не хотел, да и Комендант вел себя странно, больше молчал, ерзал и часто выглядывал в окно.

– Может, на руках потягаемся? – внезапно предложил он. – Что-то я подзабыл, кто кого в последний раз уложил?

До приезда Космача в Холомницы на руках здесь никто не боролся, и все началось с того, что он однажды принял предложение Кондрата Ивановича и легко его завалил, не подозревая, как сильно ущемил больное самолюбие. Обиженный, он несколько дней не приходил, а потом привел Почтара, невысокого, квадратного и рукастого старика на подогнутых кривых ногах. Схватка длилась минут пять, уже и мышцы начали деревенеть, но дед Лука, несмотря на воз-

раст, стоял, как молодой боец. Согнуть его руку удалось лишь после нескольких тактических приемов, заставивших сильного и неопытного соперника расслабиться.

С той поры в конце каждого дачного сезона Комендант начал организовывать соревнование. Летом народ здесь отдыхал в основном не болезненный, большую часть жизни хорошо питавшийся и не чуравшийся спорта по служебному долгу и образу жизни, – бывшие советские и партийные работники, уволенные директора предприятий, два бывших прокурора, один отставной начальник паспортной службы и даже не доработавший до пенсии председатель облисполкома. Когда у всей этой номенклатуры были казенные дачи, отнятые во время борьбы с привилегиями, а скоро все они вовсе остались без работы и, выброшенные из жизни, как разом и густо заселили Холомницы, раскупив дома в опустевшей деревне по бросовым ценам. Многие по два-три года жили здесь безвыездно, то ли отдыхали, то ли скрывались, пока каждый не нашел себе новое, пусть и не такое престижное место. На лето деревня заполнялась под завязку, однако каждый существовал сам по себе: сблизиться и жить компанией, как это часто бывает на дачах, не позволяло то ли безвозвратно ушедшее положение в прошлом, то ли стыдливость в настоящем. Поединок на руках был, пожалуй, единственным развлечением и общественным действием в деревне: все остальное время всяк по себе ковырялся на своих грядках.

Тягаться на руках у Космача настроения не было, и Комендант, так и не дождавшись поединка, начал развивать запретную тему:

– Как ты живешь? Не пойму... Молодой здоровый мужчина, бороду побрить, так вообще!.. Кандидат наук, умный, развитый, а как монах, честное слово. Хоть бы в город съездил!

Раньше он впрямую никогда не касался подобных вопросов и порой даже подчеркивал свое полное равнодушие к личной жизни не совсем обычного соседа. В дачных деревнях было не принято лезть в душу, что Космача вполне устраивало.

– Мне и здесь хорошо, – уклонился он. – Смотри, дороги замело, полное ощущение необитаемого острова. По крайней мере до весны.

Должно быть, на откровенность Комендант и не рассчитывал, тотчас скомкал разговор:

– Да уж, замело так замело... Хлеба на день осталось. На сухарях придется сидеть...

Космач ничего не ответил, и гость, так и не дождавшись ни научной беседы, ни предложения потягаться на руках, ни, на худой случай, рюмки самогона, вроде бы засобиравшись домой.

Но прежде чем пойти, сделал еще один народный вывод: мол, нескончаемый этот ветер оттого, что где-то умирает колдун или великий грешник, и буря не уляжется до тех пор, пока не отлетит его зловредная душа.

– А она долго не отлетит, это я говорю, – добавил Кондрат Иванович. – Так что буря еще дня два-три будет. Ты же заметил: что я скажу – все сбывается?

– Не заметил, – отозвался Космач.

– Как? Помнишь, зимой, когда рыбачили у мельницы? Я же сказал: не лезь на кромку, провалишься! И ты провалился!

– Да у тебя просто язык шерстяной!

– Ну вот посмотришь! – И уж до порога дошел, за дверную ручку взялся, однако решительно вернулся назад, сел на табурет к печному зеву. – Ты хоть понимаешь, зачем я приходил? Зачем в такую бурю с другого конца к тебе шел?

– Чувствую, сказать что-то хочешь, – предположил Космач. – И никак не можешь.

– Хочу. Давно собирался. А вот посидел в заточении четверо суток и решил.

Он достал из внутреннего кармана алюминиевый пенал из-под дорогой сигары, но вытряхнул короткий окурок дешевой, кое-как припалил спичкой черный конец: курил он редко, скорее всего для антуража, дым пускал, однако сейчас сделал несколько глубоких затяжек и вытер слезы. Сам все время учил, что настоящие сигары в затыг не курят.

– Когда ты сюда перебрался... месяца через два... Ко мне человек пришел. Сам понимаешь, откуда... Сначала поинтересовался твоей персоной, как да что, а потом предложил присматривать за тобой. Войти в доверие, отслеживать, кто приходит, что приносит или уносит. Построить отношения таким образом, чтоб ты мне ключ оставлял, когда уезжаешь куда. Печь протопить, коня обрядить... Ну и досмотр сделать в избе. Человека этого интересовал антиквариат. Золото, серебро, камни драгоценные, старинные книги и документы. Если что найду, должен был сразу же сообщить. Телефон&то мне поставили будто бы как ветерану, а на самом деле для оперативных целей.

– Ну и ты, естественно, отказался?

– Я бы мог отказаться, безусловно. Да они бы в покое меня не оставили. Не мне, так детям навредят. Подбросят какую&нибудь дезинформацию властям, мол, связаны с российской разведкой, испортят и карьеру, и жизнь... Я же для них – свой, а со своими они жестко обходятся. На пенсии ты, нет, – значения не имеет. Вот в нашей деревне все бывшие – и секретари райкомов, и прокуроры. Даже ты вот историк бывший, верно? А я нет, потому что в нашей службе всегда ты настоящий.

– То есть и сейчас на службе?

– Да это сложный вопрос. Ведь каждый человек хозяин своей судьбы. Так ведь нас учили? Я вот захотел уйти, а другие не хотят, кое&какие денежки получают. Старикам все помощь. Мне надоело, знаешь, так засвербило... Буду сам собой.

– Что же ты согласился?

– Знаешь, подумал, меня не завербуют – другого найдут, из дачников, например, дилетанта какого&нибудь. Они дураки и от этого борзые...

Космач пожал плечами, спросил невозмутимо:

– А с чего вдруг такая откровенность? Ты что, Кондрат Иванович, умирать собрался?

– Да нет пока. – Сподвижник Фиделя снова распалил сигару. – Ты не думай, я ни одного сигнала не послал. Хотя видел, и люди к тебе приходили, так сказать, в конспиративном порядке. Подходящие объекты, кержачки бородатые, и что&то приносили... Антиквариат у тебя находил и грамоты старинные. Это еще в самом начале, когда произвел первый досмотр. И должен заметить, Николаич, тайники ты делать не умеешь. Я сразу увидел: верхний косяк на дверях горницы вынимается. Пальчиком постучал – пустота есть, а ведь в нем паз не долбят. Снял, а там свежая долбежка и два свитка... Хорошо, что ты потом новый тайник сделал. Уже почти профессионально. Только когда пробку из бревна вынимаешь, следи за руками, чтоб чистые были. А то устал я грязь оттирать.

Космач впервые почувствовал беспокойство, но не связанное с откровениями старика: сквозь гул метели явственно донеслось ржание коня в стойле. С чего бы это вдруг? Накормлен, а поить еще рановато...

– Первый досмотр делал, когда ты в Москву ездил, с диссертацией, – невозмутимо продолжал Комендант. – Потому что мне позвонили. Проверку устроили, достоверную ли я информацию даю. Уже знали, что ты улетел, сюда собирались... Я свитки эти убрал, а их трое приехало, ночью с задов зашли и до утра всю избу твою обследовали. Меня на улице оставили, чтоб не впускал посторонних. Но я все видел... В основном бумаги смотрели, записи фотографировали... Уехали, я назад вложил. Знаешь, читать пробовал – ничего не разобрал. Язык какой&то... Вроде бы арабский, но не читается. Ни справа налево, ни слева направо... Что там было&то?

– Послания сонорецких старцев, – отозвался Космач, прислушиваясь к звукам на улице. – На русском языке, только написано арамейским письмом, справа налево.

– Ага, понятно! Шифровка... Откуда они, старцы эти?

– На Сон-реке живут.

Комендант открыл было рот, чтобы спросить, где такая река, однако спохватился – вероятно, сообразил, что любопытство неуместно, когда в грехах каешься. Помялся немного, вздохнул.

– Они потом интерес к тебе потеряли. Так, изредка позванивали, мол, как живет наш подопечный, не собирается ли куда... Думал, закончили разработку и забыли. Время то суетливое, каждый день перемены. А года три назад, когда к тебе один кержак приходил... Маленький такой, и борода по пояс. Клестианом Алфеичем зовут. Опять звонок, дескать, к Космачу гость идет, и описывают, какой. К тому времени он ушел от тебя, неверная информация, запоздали... Так я и доложил соответственно. Вот тут они крыльями захлопали! Через два часа своего человека прислали. Помнишь, контролер ходил, счетчики проверял?.. А сегодня опять звонок: нет ли гостей у тебя? Оказывается, до сих пор тебя пасут. Так что если со мной что случится, знай: ты под наблюдением.

– А что с тобой может случиться?

– Да мало ли... Все&таки седьмой десяток, сердце ноет. И может, не от ветра – от перегрузки. Думаю много.

– Надо было сразу сказать, и не мучился бы.

– Нельзя! – отрезал Кондрат Иванович. – Ты человек молодой и в этих премудростях неопытный. Мог случайно и меня сдать, и сам бы вляпался. А я знаю, как проворачивать такие дела, чтоб и волки сыты, и овцы целы. Могу даже научить.

– Не знаю, что и делать, – Космач рассеянно походил по избе, слушая ветер за окнами, – благодарить или выставить, чтоб дорогу забыл.

– Это ты сам решай, – обиделся тот и встал. – Только дурного я тебе ничего не сделал. Напротив...

Не договорил, вдруг ссутулился и нетвердыми пальцами начал застегивать пуговицы – наверное, чего&нибудь другого ждал. Космач молча слушал крик жеребца и ощущал, как беспокойство постепенно перерастает в неясную и необъяснимую тревогу. Однако же, не показывая виду, хладнокровно дождался, когда Комендант упакуется в дождевик, натянутый поверх старой дубленки, после чего распахнул дверь.

– Будь здоров.

И стал смотреть в окно. Согбенный, удрученный старик, даже не попрощавшись, вышел на улицу, как&то по-пингвиньи соскочил с крыльца и побрел по метельным сугробам, увязая иногда по колено.

Космач не испытывал ни разочарования, ни жалости, однако тревожное чувство потянуло из дома: чудилось, будто там, в бурной мгле, кто&то зовет его, кричит и просит помощи. Набросив полушубок, он выбежал на крыльцо – нет, вроде бы все спокойно, если не считать свиста и хлопанья ветра да ржания коня в стойле...

Космач работал объездчиком газопровода, конь был хоть и казенный, но избалованный и оттого наглый, попробуй не напоить или сена не дать, когда захочет. Из вредности не один раз изгрызал в прах не только ясли, но и двери, а вырвавшись на волю, жевал все подряд – от белья на веревке до сетей, развешанных для просушки. Но при этом имел экстерьер чистейшего арабского скакуна, ноги тоненькие, копыта стаканчиком, головка маленькая, нервная, все жилы на виду, а как понесется на воле, смолистые, блестящие грива и хвост переливаются на ветру, искрятся – загляденье. А заседлай и сядь верхом – мерин мерин, в рысь не разгонишь, Космач о его круп две плети истрепал, вдоль газопровода все кусты изломал на вицы, хоть застегай его, голову опустит и бредет, словно каторжник. Говорили, что за один внешний вид он несколько лет работал на племзаводе, но когда выяснилось, что и потомство от него ничуть не лучше, то списали и продали в охрану газопровода. Там же за его неумеренную любовь к кобылицам и бродяжничеству на этой почве несколько раз хотели подкастрировать, однако жеребец невероятным образом чувствовал это и накануне срывался в бега.

И все&таки было одно качество положительное, хотя совсем не конское: вместо цепного пса выпускай во двор – чужого почует раньше собак и к дому близко никого не подпустит.

Возможно, потому и прозвище носил собачье – Жулик.

Зимой дорогу вдоль трубопровода не чистили, приходилось обход делать на лыжах и воевать с лесорубами, которые таскали хлысты на тракторах прямо через нитку и где попало. Так что конь отъел себе задницу (скоро в двери не протолкнуть) и все время рвался на волю, но выводить его для проминки без веревки было опасно, все из&за его стремления к воле: бывало, по неделе приходилось искать, и все бесполезно. Обычно Жулик возвращался сам, когда нагуляется, и из&за своей внешней красоты приносил то чужой недоуздок, то веревку на шею или вовсе дробовой заряд в холке.

И все&таки с ним было хорошо, не так одиноко и есть о ком позаботиться...

Сейчас жеребец трубил во всю глотку и барабанил ногами по деревянному полу: в самом деле пить просил или чуял кого&то?..

– Ты что это, Николаич? – Комендант появился внезапно, словно и не уходил. – Испуганный какой&то... Не заболел ли?

– Нет. От твоего признания отойти не могу.

– Я сказал, как было. Так что не обижайся.

– Так ты где служил, что&то я не пойму? На Кубе или стукачом в КГБ?

– Извини, я служил в военной контрразведке! – позванивающим голосом отчеканил Комендант. – И не нужно меня сравнивать со стукачом.

– Почему же тебя приставили за мной следить?

– Им другого агента сюда посадить трудно. Вот и вспомнили про меня, и здесь разыскали...

– Не ожидал от тебя, Кондрат Иванович...

– Что ты не ожидал? – вдруг задиристо спросил Комендант. – Да если бы ты сюда не переехал, я бы жил спокойно. И никто бы не доставал! Между прочим, я поэтому в деревне поселился. А тебя черти принесли!..

– То есть я еще и виноват?

Комендант ссориться не хотел, но и унижаться тоже.

– Как хочешь! Я с тобой в открытую! А мог бы не говорить, и сроду бы не узнал.

Космач послушал жеребца, поглядел по сторонам – в свете фонаря снежная муть, никакой видимости.

– Почему вдруг позвонили именно сегодня?

– Не объяснили. Возможно, прошла информация, кто&то к тебе идет.

– Я никого не жду. – Космач пожал плечами. – Хотя вон конь вопит...

– Где&то кобылка загуляла, ветром наносит... Весна.

– Откуда кобылке взяться?..

– А, ну да! И в самом деле, – как ни в чем не бывало засмеялся Комендант – должно быть, примириться хотел. – Если только едет кто, на кобыле.

– Что домой&то не ушел?

Кондрат Иванович махнул рукой в сторону столба:

– Да я вернулся, свет включить...

На все Холмницы было два фонаря, в начале и конце деревни. Зажигать и тушить их Комендант сделал своей обязанностью, и сейчас Космач неожиданно подумал, что все это специально лишний раз пройтись по улице и посмотреть, что где творится, и есть причина в гости заглянуть. Ведь приходил каждый день, по утрам и вечерам...

Однако тут же и отогнал зудящую мысль: окажись он и в самом деле исправным стукачом, давно бы кто&нибудь нагрянул среди ночи, особенно когда гости приходят с Соляной Тропы. А то ведь ни одной неожиданности за все шесть лет не случилось.

– Ладно, коня напою, может, успокоится. – Космач пошел к стойлу.

– У тебя, наверное, на душе неспокойно, – не отставал Комендант. – Только ведь я должен был когда-то сказать? А тут еще звонок!.. И сердце ноет. Умру, и знать не будешь!

– Ладно, живи и не умирай!

Кондрат Иванович что-то прокричал и пошел буравить снежные дюны.

Космач запер за ним калитку, взял ведра и пошел в баню, где топил снег, чтоб не водить коня на реку в такой буран. Но вышло, засиделся с гостем, котел выкипел чуть ли не до дна, так что пришлось заново набивать его снегом и дров в печку подбрасывать. Подождал немного, посмотрел, как намокает и темнеет снежный курган, и понял: не дожидаться – Жулик чуть не ревет в стойле, а вода еще не натопилась, снежная каша в котле.

Вывел коня на улицу – не похоже, чтоб умирал от жажды, а то бы снег хватал, однако немного успокоился, потянулся мордой к карману, где обычно лежал ломоть хлеба с солью.

– Потом вынесу, – пообещал Космач и, надев лыжи, взял садовую лейку: очень удобно воду с реки носить, не расплескаешь.

По склону спустились резво, по ветру, и снегу всего по щиколотку, но внизу набило так, что жеребцу до брюха – до берега почти плыл, перебирая ногами рыхлый сугроб. Река в этом месте не замерзала, поскольку немного выше стояла полуразрушенная мельничная плотина, сложенная из камня и утыканная толстенными лиственничными сваями. Вода грохотала здесь всю зиму, и к весне по берегам нарастали торосы. Сейчас полынья спряталась под сугробами и коварно затихла. Года четыре назад после сильной метели здесь погиб дачник: не разглядел под снегом кромки, сделал три лишних шага, провалился и утонул, хотя воды было по колено.

Жеребец край чуял хорошо, сразу нашел торос, встал на колени и точно сунулся мордой в снег, одни уши торчат.

Все-таки пить захотел...

Метель оглушала, да еще шапка была натянута на уши, но сквозь этот шумовой фон Космачу почудилось, будто собаки залаяли в деревне – благо что дуло с горы, наносило звуки. Он оглянулся: сумрачно-белое пространство почти укрыло свет фонаря, а очертаний домов вообще не видать.

И где-то там полоскался на ветру остервенелый лай – будто по чужим или по зверю!

Звери в бытность Космача в Холонницы не заходили, а чужаки зимой заглядывали частенько – дачи грабить или провода со столбов резать, да ведь в такую погоду и электролинии не найдешь...

Собак в деревне было всего две, матерые кавказцы, и оба у Почтаря, а тут словно свора орет, и вроде уж рычат – дерут кого-то или между собой схватились?..

Жеребец все тянул и тянул воду, изредка вскидывая голову, чтоб отфыркаться. И пока пил, ничего не слышал и не чуял, а потом вдруг вскочил с колен, насторожился в сторону деревни и запрядал ушами.

Космач сдернул уздечку, хлестнул поводом.

– Домой! Охранять!

Поди, не сбежит в такой буран... И сам теперь встал на колени, сунулся с головой в снежную яму, чтоб зачерпнуть лейкой.

– Не поклонись, так и воды не достанешь...

Собаки уже рвали кого-то, ржал в метели бегущий конь, вплетая в голос ветра чувство крайней тревоги.

Пока Космач барахтался в сыпучем пойменном снегу, затем вздымался на гору против ветра, рычанье вроде бы прекратилось, отчетливо слышался лишь плотный, напористый лай возле дома. Наверное, собаки Почтаря выскочили со двора по сугробам и теперь держали кого-то.

И вдруг увидел на своем крыльце очертания громоздкой фигуры, как показалось, в ямщицком тулупе с поднятым воротником. К ногам собака жметса, скулит, а кавказцы зажали с двух сторон, захлебываются от усердия, и вместе с ними Жулик – тянет шею, скалит зубы и только не лает.

Космач поставил лейку с водой, отогнал псов, человек тем временем заскочил на крыльцо.

– Христос воскрес, Ярий Николаевич, – услышал он хрипловатый голос.

Так его звал единственный человек в мире...

– Вавила?.. Боярышня!

– Да я, я это, признал! А думала, не признаешь сразу...

Он мечтал об этой минуте, воображал нечто подобное и все&таки оказался не готов, вместо радости в первый миг ощутил растерянность. Снял и обстучал лыжи, потом взял коня за гриву. Отвел и запер в денник.

В чувство привел его Комендант, вдруг выступив из метели, как черт из коробушки, – вот уж нехстати!

– Гляжу, следы свежие по дороге. – Он старался рассмотреть, кто стоит на крыльце под тенью козырька. – Потом слышу – собаки рвут... Я уж подумал, провода снимают!.. А голос вроде один и женский!

– Служба работает, Кондрат Иванович. Вот и гости, не зря звонили.

– Я тебя предупреждал... Ладно, встречай гостью, если что – прикрою, не волнуйся.

Космач взбежал на крыльцо, стал перед странницей.

– Да как же ты здесь? Откуда?..

Крупная, напоминающая волка лайка ощерилась.

– А ты бы не травил собаками да сначала в хоромину пустил и обогрел. Тогда и спрашивал.

За спиной у нее оказалась объемистая парусиновая котомка.

– Прости, – повинулся и повел в дом. – Комендант меня смутил... Любопытный.

Держал под руку, чтоб не запнулась в темных сенях о дрова, едва нашел скобку на двери.

В избе она перекрестилась в ближний угол заскоружлым ледяным двоеперстием.

– Мир дому... Слава тебе, матушка Пресвятая Богородица, вот и добралась...

– Как же нашла меня, Вавила?..

Она с трудом стащила с плеч котомку, но из рук ее не выпустила, длиннополюю дубленку лишь расстегнула: помогать одеваться или раздеваться даже самому уставшему путнику у странников было не принято – дурная примета. Чужая помощь только покойникам нужна, а пока жив человек, сам и снимет одежды, и обрядится...

– Клестя-малой у тебя бывал, так сказывал, в какой стороне искать.

– Но как ты добралась?

– На автобусе приехала. От дороги пришла...

– В такую погоду? Без лыж?

– Лыжи да все лишнее в Северном оставила, у Савелия Мефодьевича. А он мне дубленку дал, а то, говорит, одеженка у тебя срамная, чтоб на люди... Он захворал, лежнем лежит, так на автобус не проводил. Сама пошла да села – быстро приехала. А здесь, от тракта, версты две токмо, так прибрела...

– Ах ты боярышня моя... Откуда же идешь?

– Из своей стороны иду, Ярий Николаевич, из Полурад... Серка за мной увязался. Сколь ни гнала, сколь на привязь не сажала и у людей оставляла, все одно сорвется и нагонит. Одна неделя моим следом бежал...

В избе только разглядел: лицо выюгой беленое, глаза со слезинками и губы обветрели, потрескались. Дубленка мужская, черничником крашенная, шапка соболья, высокая, искристая, белым полушалком повязана, на ногах катанки вышитые – наряд позапрошлого века...

– Разоболокайся, Вавила Иринеевна! Чайник поставлю...

– Обожду... Согреюсь маленько. – Втянула голову в плечи. – Долго стояла у твоей деревни, темноты ждала, так заколела... Ты, Ярий Николаевич, Серого не прогоняй, пусть в сенях полежит. Грешно собаку в хоромину пускать, да жалко. Престал он, обессилел, ну как ваши собаки порвут? Отлежится, потом и выставим...

– Да пусть лежит. Коль такую дорогу с тобой прошел!..

Космач проводил ее поближе к русской печи, усадил в кресло, сам же на кухню, чайник ставить. Вот уж неожиданная гостя! Явилась будто из другого, несуществующего мира, из сказки, из собственного воображения соткалась...

Не верилось, но выглянул – сидит, бросив руки, голова набок клонится – так устала, что засыпает.

– Может, в баню сходишь с дороги&то? – опомнившись, спросил он. – Протоплена и вода, поди, горячая. А потом и спать уложу.

Она мгновенно встрепенулась, шапку с полушалком долой, и коса раскатилась до полу – все еще одну плетет, значит, не вышла замуж.

А лет ей, должно быть, двадцать пять...

Огляделась, вздохнула с натянутым облегчением.

– Вот ты теперь где живешь, Ярий Николаевич...

– Да, теперь тут...

– В скит ушел? – будто бы улыбнулась.

– Уединился. Мне здесь нравится.

Она скользнула взглядом по книжным полкам на стенах.

– Добро... В деревне, а книг все одно много.

– Читаю, когда делать нечего... Ну, так пойдешь в баню? – напомнил он. – С дороги&то легче будет, и погреешься...

– Ты что же, в пяток баню топишь? Или меня ждал?

– Я тебя каждый день ждал...

– Ой, не ври-ка, Ярий Николаевич! – погрозила пальчиком. – А где жена твоя, Наталья Сергеевна?

– Нет у меня жены, боярышня, – терпеливо сказал Космач. – И не было никогда.

Она не обратила на это внимания, потрогала свою косу.

– В баньку бы не прочь... – Улыбнулась вымученно, однако спохватилась, развязала котомку и покрыла голову парчовым кокошником. – Да ведь совестно...

Космач снял с вешалки полушубок.

– Пойдем, я тебе все покажу. С обеда топится, жарко, так и попариться можно. Веники у меня дубовые. А вместо холодной воды – снежка принесу.

– Велик соблазн... А ты где будешь, Ярий Николаевич?

– Я пока в магазин съезжу.

– А если кто придет?

– Сюда никто не придет, не бойся.

– Старик меня видел. Не выдаст?

– Этот не выдаст, – уверенно сказал он, хотя на сердце беспокойно было. – Он хороший человек.

Боярышня помедлила, затем встала и подхватила котомку.

– Ну так отведи. Хоть и нехорошо в мирскую баню ходить, да ведь не помывшись с дороги&то и почивать грех...

Он показал Вавиле баню, куда подбрасывать, где трубу прикрыть (у старообрядцев все бани топились по-черному), натаскал и набил снегом кадку, достал из шкафа мыло, шампунь и полотенце, сам запарил веник.

– Не спеши и ничего не бойся. Я вернусь через час-полтора.

– Засова&то на двери нет...

– Вон какая охрана! – Он попробовал приласкать собаку, прибредшую следом за хозяйкой, – ощерилась, прижала уши. – Тут никто и близко не подойдет. Легкого тебе пара!

– Токмо гляди не задерживайся!

Космач подседлал коня, вывел из стойла.

– В магазин!

Слово это жеребец знал, поскольку всякий раз у магазинного крыльца получал пряник или сахар, с места пошел рысью, несмотря на ветер и убродный снег. Однако проскакав деревню, перешел на шаг и встал, прядая ушами, – впереди, залепленный снегом с ног до головы, белым привидением вырос Комендант – мимо него никак не проскочишь!

– На точку поскакал?

Космач лишь чертыхнулся про себя: в Холомницах ничего нельзя было сделать тайно...

– Хлеба я тебе куплю! – крикнул он и понужнул жеребца.

– И еще печенья, пряников и сухариков. По килограмму! А Никитичне привет от меня!

У Коменданта на мочевой точке была подруга, повариха, на которой в полушутку, в полусерьез он обещал жениться, когда та овдовеет.

На чистом месте дорогу выровняло с полем, но в лесу, где дуло меньше, Космач увидел полузанесенные следы Вавилы – виляющая цепочка голубоватых пятен лежала на снегу, будто жемчужная нитка. В тот момент, охваченный странным, задумчиво-восторженным состоянием, он даже не подумал о причине, заставившей боярышню пуститься в столь дерзкий и дальний путь.

Она явилась, и этого было достаточно. Она и только она была по-боярски вольна уходить и возвращаться.

С началом мартовской метели Космач не выезжал из деревни, и дома кончилось почти все, что не выращивалось на огороде или не ловилось в реке, даже сухари. Жители всех полумертвых деревень в округе отоваривались чаще всего на автостоянке, где местный фермер построил магазин и харчевню с красивым именем Холомницы, всего в полусотне метров от новенького моста через одноименную реку. Место было живописное, настоящий швейцарский пейзаж, но по старой колхозной привычке разбогатевший агроном сэкономил на туалете, не удосужился сколотить хотя бы обыкновенный сортир, и потому дальнобойщики называли эту стоянку мочевой точкой.

Ехал Космач за продуктами, но тут увидел на витринном стекле светящуюся надпись из елочных гирлянд: «С днем 8 Марта!»

Надо же, и Комендант сбился со счета, а то бы непременно подсказал: как ни говори, праздник, есть причина сбегать к Почтарям за горилкой.

Грузовиков на площадке не было, у трактира пристроилась лишь парочка микроавтобусов. Космач спешил, сдернул с седла переметные сумы и ввалился в стеклянные двери – не занятый работой женский коллектив сидел за бутылочкой вина. В дальнем углу ужинали водители.

– С праздником, барышни!

Народ по тракту жил разбитной, палец в рот не клади.

– Вот, еще мужика бог послал!

– Не занесло вас там, в Холомницах?

– Пообнимай-ка нас, Николаич!

– Лучше бородой пощечочу! – Космач снег отряхнул. – Коль товару продадите. Хватился, а на дворе&то женский день!

– Вы там что, со счёту сбились?

– Одичали!

– С кем гулять собрался? Уж не с Почтаркой ли?

– Да с кем у нас еще погуляешь? – С трактирщицами следовало быть осторожным: выдадут по простоте душевной. – Как дед заснет, так и пойдём.

Почтарь со своей старухой были конкурентами и магазину, и харчевне, поскольку зимой морозили картошку, квасили ее в чанах, гнали самогон и потом все лето продавали дачникам, которые предпочитали его самопальной водке. Однажды хозяин мочевого точки взял с собой участкового и пришел и Холмницы на разборку, мол, надо ликвидировать самогонщиков как класс. Участковый предусмотрительно остался за воротами, а фермер смело полез через забор, чтоб открыть калитку, заложённую изнутри.

Молчавшие до того момента кавказцы этого и ждали. Работали они аккуратно: один сразу же сшиб бывшего агронома на землю и потащил к себе в будку. А второй тем временем не давал участковому перелезть через высокую изгородь.

Освободили его на следующий день при помощи пожарной машины и брандспойта.

Почтарь лишь руками разводил:

– Та я ж и не бачив, шо кобелюка в будку таскае! Ийде вин взяв чоловіка? На помойке валявся, чи шо?

Впоследствии фермер отомстил конкуренту жестоко: когда Почтари собрались уезжать на Украину, по дешевке купил у них дом с усадьбой, но возвращение на родину не состоялось (было подозрение, не без его участия), и старики хотели выкупить хату назад. Тогда он и отыгрался, заломил такую цену, что до конца жизни не расплатиться. И все&таки Почтари самовольно вернулись под свой кров, но жили под постоянным страхом выселения. Фермер мог бы выкинуть стариков на улицу в любую минуту, но удерживало то обстоятельство, что бывшему оуновцу терять нечего, и в следующий раз не собак спустит – возьмется за оружие и живым не сдастся.

К празднику в магазин был завоз, и Космач купил хорошей колбасы, пельменей, копченую грудинку и оливки, а помня вкусы Вавилы, взял виноград, апельсины, два торта, огромный пакет поджаренного арахиса и несколько плиток шоколада. К спиртному раньше она никогда не прикасалась, но ведь минуло столько лет – на всякий случай прихватил бутылку шампанского.

Продавщица что&то заподозрила.

– Сроду такого и не брал... У Почтарей горилка кончилась?

– А у вас сроду такого и не бывало, – отпарировал. – Мне еще вон тот букет роз!

– Не продается, подарок, – смерила взглядом. – Ты что это раздухарился, Николаич?

Гостей ждешь?

– Да кто в такую метель к нам пойдет? Поставлю на стол – самому будет приятно, – соврал не моргнув глазом.

Продавщица враз потеряла интерес, однако проявила участие.

– Ладно, за сто рублей отдам, – вздохнула. – Все равно праздник кончается. Не подарок это. Чурки какие&то ехали, за ужин рассчитались...

В букете было пять бордовых роз с черными прожилками, немножко подмороженных и уставших. Женщины помогли завернуть их в несколько газет, сверху надели пластиковый пакет.

– Довезешь, недалеко!.. Только врешь ты, Николаич! Ну зачем мужику букет на Восьмое марта?

Назад Космач ехал рысью, бросив повод: в одной руке держал букет, во второй торты и молился, чтобы Жулик не споткнулся в снегу, – пронесло. Разве что упаковку на розах потрепало ветром...

Комендант уже дежурил на дороге у своей избы, отвязал сумку от седла, махнул рукой.
– Завтра рассчитаюсь! С утречка загляну, чтоб разбудить. А то ведь проспите!..
– Только попробуй! – огрызнулся Космач.

В банном окошке теплился свет, и, пользуясь тем, что Вавила еще парится, он взялся накрывать стол. Скатерть новую постелил, расставил приборы, нарезал закусок, водрузил посередине стола блюдо с фруктами – все пока варились пельмени.

Но цветы запихал в лейку с водой и спрятал на печи, чтоб погрелись...

Проверил все еще раз, спохватился, в горнице голландку затопил, кровать расправил, подмел в прихожей и убрал лишнюю одежду с вешалки...

Два часа уже минуло, и что-то тревожно стало – нет боярышни...

Накинул полушубок, прибежал к бане и, чтобы не напугать, постучал, окликнул негромко:

– Вавила?.. Вавила Иринеевна?

Окошки запотели, за стеклом белая пелена, тут еще пес на заснеженном крылечке приподнял голову, немо ощерился. Космач приоткрыл дверь, спросил в щелку:

– Ты жива там, боярышня?

Ни звука! Лишь жаркое дыхание бани над дверью да пар от холодного воздуха понизу. И в этом молочном облаке он переступил порог, еще раз позвал:

– Боярышня?..

Вавила спала в предбаннике на топчане, разбросав руки, – должно быть, напарилась, намылась и прилегла отдохнуть.

В полотенце были спрятаны лишь волосы, скрученные в жгут...

В первый момент он смотрел на нее сквозь пар с мальчишеской вороватостью и оцепенением, готовый бежать, если она шевельнется или хотя бы дрогнут веки. Ее нечаянная открытость и сонное безволие будоражили воображение и наполняли душу взрывным, бурлящим восторгом; он зажимал себе рот, чтобы все это не вырвалось неуместным смехом, криком или стоном.

До того мгновения, пока не разглядел сквозь пар и затуманенное сознание, что все тело, от плеч и до талии, затянута тугой белой сеткой. Одевание это было настолько неестественным, что вначале он потерял осторожность, приблизился к топчану и склонился над спящей.

Только сейчас у Космача возникла невероятная, сумасшедшая догадка: на Вавиле была власяница! Вериги, сплетенные в виде сетчатой рубашки из конского волоса со щеточками узлов, обращенных внутрь. Подобную одежду в старообрядческих скитах он никогда не видел и видеть не мог, ибо ношение вериг было делом тайным, сокровенным, как сама бушующая плоть, требующая смирения таким жестоким способом, или великие грехи, искупление коих проходило через телесные страдания. Об этом можно было прочесть в житиях мучеников за древнее благочестие или услышать в рассказах отступников, которые, понося прошлое скитничество, много чего приукрашивали, а то и вовсе глумились над строгостью былой жизни.

От чего же она спасалась, коли не снимала вериг даже в бане?

Потрясенный и подавленный, он попятился к двери, вышел из жаркого предбанника и очутился на ледяном ветру – не заметил, когда и взмокрел от пота. Ни скрип, ни стук двери Вавилу не пробудил, иначе бы подала голос...

Космач постоял, отрезвляясь, умылся снегом, после чего постучал громко.

– Вавила Иринеевна, ты что, уснула?

Подождал несколько секунд, заглянул – спит не шелохнувшись! На светлом, умиротворенном лице легкая тень пугливой радости, будто жарким днем входит в холодную речку.

Грудь раздавлена сеткой, и сквозь ячейки, будто древесные почки сквозь жесткую кору, выбиваются росточки сосков...

Одежка эта была настолько неестественной, настолько поражала воображение и обескураживала, что появилось внезапное шальное желание снять, сорвать ее, невзирая на обычаи.

Сжечь эту лягушачью кожу, а там будь что будет...

Не заботясь о том, проснется она или нет, Космач достал складной нож и, поддевая пальцем тугие, скрученные жилы, с хладнокровностью хирурга разрезал власяницу снизу доверху, рассек стяжки на плечах и под мышками.

На теле под веригами оказалось множество свежих и засыхающих язв – будто насклеили, натерли металлической щеткой.

Отгоняя рой смутных мыслей, он принес из дома спальник, оставшийся с экспедиционных времен, постелил рядом и, хладнокровно взяв спящую под лопатки и колени, переместил на мешок, застегнул молнию. Она лишь пошевелила губами – хотела пить.

И когда нес по метели, пряча ее лицо у себя на груди, чувствовал лишь горячее, прерывистое дыхание жажды...

Она не проснулась ни через час, ни через два – так и спала, спеленатая мешком, будто в коконе. А Космач, ошеломленный и растерянный, сначала долго сидел возле постели, потом бродил по избе и не мог сосредоточиться ни на одной мысли. Вспомнив ее сухие, жаждущие губы, принес воды, но напоить из ложечки не смог: при одном прикосновении металла к губам Вавила стискивала зубы, и все проливалось в капюшон спальника. Тогда он набрал воды и стал пить изо рта в рот, преодолевая головокружение и неумное желание не отнимать губ.

И в этом тоже было что-то тайное, воровское...

Дабы не потерять самообладания и не думать о ее язвах, Космач разговаривал между глотками будто бы сам с собой:

– Вот я целую тебя, а ты и не знаешь. А снится, наверное, воду пьешь...

Так он выпоил целый стакан, а когда принес второй, вдруг обнаружил, что губы похолодели и стали отзываться так, словно он подносил ложечку, а на лбу выступил пот. Космач осторожно расстегнул замок, откинул клапан спальника: в полумраке горницы раны на ее теле светились красной рябью...

Он накрыл Вавилу простыней и вышел из горницы, притворив за собой дверь, – размлела в бане окончательно, спать будет до утра.

Чувства оставались смутными, смешанными, как метель, – и волнение до тряски рук, и жалостный вой подступающей тоски, и вместе с тем трезвящий, саркастический голос где-то за кадром сознания.

Космач ушел в баню с мыслью прибраться там и потушить свет, но увидел изрезанные вериги, собрал клочки и сел на топчан. Можно было сейчас же кинуть в печь эту лягушачью кожу, однако он мял власяницу в руках и чувствовал, как глубокие следы внезапного всплеска радости, праздничного состояния и восторга напрочь замечает тоска.

К нему явилась молодая монахиня, смиряющая плоть, дабы не поддаться искушению дьявола. Инокня из толка непишущихся странников, строго блюдушая заповеди стариков и древнее благочестие.

А в памяти остался совершенно иной образ...

И вдруг пожалел, что перенес из бани в дом: проснется – сразу поймет, и что видел ее обнаженной, и что прикасался, когда освобождал от вериг и укладывал в спальник.

Даже вот эту кожу сжигать не придется, взмахнет крылами и улетит...

Космач снял с вешалки одежду Вавилы, взял котомку и пошел в дом. Отсыревшие валенки и дубленку на печь положил сушиться, а розы снял и, подрезав стебли, утопил в лейке с водой: говорят, они так дольше живут. Потом осторожно открыл дверь в горницу, прислу-

шался и, прокравшись к кровати, оставил у изголовья одежду и вещи. Но власяницу засунул в карман полушубка, испытывая при этом тихое мстительное чувство.

Пельмени в тарелках давно остыли, склеились, обсохла запотевшая бутылка шампанского, и праздничный стол потерял свой недавний блеск. Космач свалил пельмени в миску и вынес собаке, тихо поскуливающей в сенях, но строптивый пес даже не понюхал, отвернул морду.

– Не берешь из чужих рук? Как хочешь, твоя воля...

Жулик, напротив, просил корма, стучал копытами и ржал на голос хозяина – набил ему ясли сеном.

– И такие неожиданности случаются, брат...

Он хотел отвлечься в хозяйственных заботах, встряхнуться, однако едва переступив порог, уловил банный запах.

Вавила скинула простынь, разбросала руки – летала во сне...

Космач выключил верхний свет, горящую настольную лампу поставил на пол и сел за рабочий стол, отгороженный от просторной избы книжным стеллажом, раздернул занавески на окне – создал обстановку, когда хорошо думалось.

На улице по-прежнему бурило, в непоколебимом свете фонаря висела туча мельтешащего снега, и не поймешь, откуда ветер. А в тихую погоду и летом, и зимой из этого окна открывалась такая даль, что если долго смотреть, то возникало чувство полета.

Он часто засыпал, откинувшись в кресле, и сны тогда были легкими, воздушными. И сейчас он не заснул, но будто во сне увидел небольшое поселение странников среди трех десятков глубоких таежных озер с редкостным и загадочным названием – Полурады. В миру такие деревеньки называли скитами, однако на самом деле там жили не по монастырским правилам, а обыкновенно, семьями. Обычно неписяхи редко оседали и жили на одном месте и редко строили дома – чаще всего останавливались у старообрядцев из других толков (странников на Соляном Пути чтили особо за скитальческие подвиги и принимали радушно), на худой случай рыли землянки или рубили крохотные избушки, чтоб остановить вечный бег на год-полтора, родить и выкормить грудью ребенка, подлечить захворавшего. А потом снова уйти в бесконечное странствие.

В Полурадах все было не так. Истосковавшиеся по человеческому жилью и уставшие от цыганского образа жизни люди ставили настоящие хоромы, на подклетах, разделенные на мужскую и женскую половины, на зимнюю и летнюю избы. А для того чтобы защититься от чужого глаза сверху (тогда аэропланы еще не летали, но в послании сонорецких старцев было сказано, будут летать), дом выстраивали вокруг огромных кедров, и так, что ствол дерева оказывался на крытом дворе или в коридоре, соединяющем зимнюю и летнюю избы. Огромные кроны словно шапкой накрывали крыши сверху, не пропускали воду даже в сильные дожди, принимали на себя всю тяжесть зимнего снега, а летом, источая специфический кедровый запах хвои, отпугивали несметные тучи комарья.

Прадед Вавилы, Аристарх Углицкий, в тридцатых годах выведal благодатное место среди множества озер, снялся с дурного, болотистого места на Соляной Тропе и увел свое племя подальше от анчихристовых уполномоченных, от сельсоветов и переписи.

– Посидим, буде, здесь, – сказал. – Довольно нам странствовать да по норам скитаться. Тут самый край света, некуда более нам податься. На сем и кончается Соляная Тропа и наше великое стояние. Рубите хоромины достойные и живите с Богом.

И пропал не только от зоркого ока властей, но и от своих, и не объявился бы, да настала пора сыновей женить и дочерей отдавать, пришлось сказаться.

Только спустя шестьдесят лет сюда впустили первого мирского человека – ученого, уже известного на Соляной Тропе, многими наставниками общин рекомендованного. Несмотря на это, Космача больше месяца продержали в карантине – в избушке на смолокурне: кор-

мили-поили, беседовали или просто расспрашивали про жизнь мирскую и пытали по простоте душевной, не перепишет ли он странников в книгу бесовскую, не выдаст ли их бесерменам поганым.

И еще бы присматривались, да явился сам Аристарх Углицкий, столетилетний слепой старец с бородой, для удобства в узел завязанной на животе. Пощупал лицо ученого мужа, руки зачем-то помял.

– Ты что ищешь-то у нас, путник?

– Истину ищу, – сказал Космач. – Иного мне не надо.

– Кто дорогу указал?

– Овидий Стрешнев с Аргабача. Послал к вам, мол, что в Полурадах странники скажут, так оно и есть.

– Что мы скажем тебе? – заворчал старец. – Нет боле Соляной Тропы, кончается наше скитничество. Триста лет токмо и простояли. Как старики сказали, так оно и вышло. Все прахом пошло. Что ты еще знать хочешь?

– А понять хочу, как вы триста лет простояли.

В то время Космач понимал эту Тропу как некий путь, экономически связывающий множество скитов, монастырей и старообрядческих поселений на принципах товарообмена, – своеобразную дорогу жизни, позволяющую существовать раскольникам безбедно и автономно от государства.

Тогда все так считали...

Старец Углицкий побряхтел недовольно, поблуждал невидящим взором мимо незваного гостя:

– Буде, ступай за мной.

Это была победа, звездный час Космача, потому что еще никому из ученых не удавалось подойти к призрачным, таинственным странникам так близко. А мечтали и делали попытки многие, в том числе и сам дедушка Красников, пожалуй, лет сорок считавшийся единственным специалистом в университете, способным работать в среде старообрядцев. В молодости, при Хрущеве, его засылали в скиты темных лесных мракобесов как агитатора, открывать обманутым и забитым кержакам глаза на светлый мир будущего. В то время иначе было невозможно легально изучать жизнь и быт раскольников – с точки зрения официальной политики научного интереса они не представляли. Как и за что он агитировал, оставалось загадкой, но то, что Красников первым прошел весь Соляной Путь и оставил о себе добрую славу, было фактом. Вообще-то его всегда считали бессребреником, весь научный багаж умещался в монографии, напечатанной в университетской типографии и не ставшей диссертацией, да в трех тоненьких книжках о говорах и обычаях в старообрядческих поселениях Среднего Приобья.

Он никогда не делал из своих способностей и возможностей какого-то секрета, каждый год, отправляясь на все лето в скиты, брал с собой студента поздоровее, ибо сам уже был в возрасте, но ничего не объяснял и не втолковывал – слушай, наблюдай и делай выводы. Таким образом Космач оказался в своей первой экспедиции в семнадцатый век и теперь шел по стопам Красникова, поскольку, как и он, работал на дядю.

Но в тот звездный период об этом не думалось.

Еще месяц ученый муж ночевал в старой баньке у озера, а днем напрашивался то на рыбалку, то сено убирать и, поскольку сила была, работал от души, однако все больше замечал, что интерес к нему тайных полурадковских жителей медленно пропадает. По обыкновению, пищу на смолокурню ему приносили отдельно, и всегда то молчаливая старуха Виринея Анкудиновна, то сноха ее, женщина лет пятидесяти, а тут стали присылать девушку, тоненькую, большеглазую, еще вроде бы подростка, но очень уж чинную: поклонится, прежде чем горшок с едой подать, затем на руки польет, полотенце, будто драгоценность, в руки вложит, потом отойдет в сторонку и ждет, пока он поест, и стоит с достоинством принцессы, с задранной

подбородком. Возьмет посуду и тут же, подальше от его глаз, на озеро, по-бабьи, без всякой горделивости отмоет с песком, полотенце прополощет, перекрестит все, какую-то молитву прочтет и, путаясь в длинном подоле, бегом в гору.

Звали ее необычно – Вавила...

– Тебя почему так кличут? – однажды спросил Космач. – Неужели женского имени не нашли?

– Вавила – имя женское, – гордо ответила юная странница и преподала урок из именованного слова: – А мужское – Вавил. Есть еще Феофан и Феофания, Евдоким и Евдокия, Малофей и Малофея. У Бога для людей имен много, да надобно, чтоб в паре были, как два крыла у птицы. Вот тебя Юрий зовут, а как жену назвать? Нету женского имени. Все потому, что по правде имя тебе – Ярий, и жена тебе – Ярина.

И ушла, оставив Космача чуть ли не с разинутым ртом. С той поры он стал присматриваться к ней, несколько раз пытался заговорить, однако неподалеку были или братья, или отец ее, Ириней, вечно хмурый и обиженный чем-то мужик, поэтому Вавила удалялась, не поднимая глаз, чем еще больше возбуждала интерес.

Он впервые тогда столкнулся с потаенной, внутренней жизнью непишущихся странников, или, проще, неписах, как их называли старообрядцы других толков. Это были вольные, беспаспортные, не отмеченные ни в одной государственной бумаге и потому неуловимые люди, о существовании которых власть могла лишь догадываться. При малейшей опасности они срывались с насиженного места и бесследно исчезали вместе со скотом, псеками и скарбом.

Здесь все казалось необычным и странным, как если бы он ушел в прошлое, в семнадцатый век, не подчиняющийся никакой логике двадцатого. Скрытное, чуть ли не полностью изолированное их существование (сено косили в полдень, чтоб тень от человека не видна была с воздуха, а траву тотчас же вывозили с луга) вполне мирно соседствовало с потрясающей информированностью и естественным восприятием технического мира – выходили ночью спутники на небе смотреть и не чурались, не крестились в ужасе, а спокойно и деловито отмечали приметы: если летящая звезда мерцает, через пару дней жди ненастья, а если инверсионный след от самолета долго не тает – к хорошей погоде. Наивность и невероятное целомудрие, когда хоромы делились на мужскую и женскую половины, парадоксальным образом сочетались с нудистским на первый взгляд бесстыдством, когда всем скитом, раздевшись донага, лезли купаться в озеро. Вроде бы смиренные и богобоязненные, но никогда не увидишь, как молятся; в быту скверного слова не услышишь, даже когда молотком по пальцу попадет, а примутся ругать неких отступников и еретиков – уши вянут. И при этом говорят: грех не то, что из уст, а то, что в уста.

Разобраться во всем этом Космачу не удалось, тем паче – на контакт неписахи шли трудно, и Вавила оказывалась единственным открытым для него человеком. Иное дело, вся скитская жизнь была на глазах, за гостем присматривали, а от прозорливых вездесущих стариков вообще ничего было не скрыть. За общий стол его по-прежнему не пускали, и это было на руку: выкраивалось несколько законных минут утром и вечером, когда Вавила приносила еду. Но и эта лавочка скоро закрылась. Однажды вместо нее явилась бабушка Виринея Анкудиновна, суровая, белолицая и еще не совсем старая, брезгливо ткнула клюкой в двери:

– Ответствуй, немояка, кто дорожку к нам показал? Сонорецкие старцы?

О сонорецких старцах он тогда впервые слышал, хотя Красников говорил о какой-то совсем уж закрытой общине, которую он вычислил теоретически.

– Овидий послал, с Аргабача, – признался он, зная авторитет этого человека среди неписах.

– Кто ты будешь-то, коли Овидий послал?

– Ученый я, изучаю жизнь старых людей.

– Нет тебе веры. Шел бы куда-нито, покуда беды не случилось.

– Я не принесу беды, Виринея Анкудиновна, – заверил тогда Космач. – Напротив, помогать буду, защищать, если потребуется.

Она же глаза опустила и произнесла не совсем понятную фразу:

– Покажешь дорожку бесерменам, вольно или невольно. Смутится народ, и начнется хождение.

И больше Вавилу не присылала. . . Между тем подкатывал октябрь, и надо было выходить из страны озер до снегов и морозов на Енисей, пока навигация не закончилась, пока еще ходили теплоходы. Космач собрался в один час, поклонился сначала всем домашним по порядку, начиная с лежащего пластом Аристарха (зиму вряд ли протянет), потом весь скит обошел, простился с каждым, а Вавилы так и не увидел.

Выходить из озерных лабиринтов легче было при утреннем солнце, чтоб ориентироваться, когда и где повернуть: чуть промахнешься, и таких кругалей нарежешь, что и за месяц не выберешься. Однако накануне спутники в небе мерцали, день начинался ненастный, ветреный, снежок пробрасывало, и оставалось полагаться на свое чутье и память – все&таки второй раз по одному пути шел. И тут, лишь ступил в первый перешеек меж озер, в темноту пихтачей и кедровников, увидел блеснувшие глаза Вавилы и подумал: чудится, – но она выступила из лесных сумерек.

– Счастливого пути тебе, Ярий Николаевич, – проговорила совершенно будничным голосом. – Коль сомнение будет, куда воротить, держись левой руки.

– Что ты здесь делаешь? – Ему стало и радостно, и страшно.

– Матушка велела черничника нарвать вязанку.

– А зачем?

– Овчины дубить и красить. К зиме станем однорядки шить.

– Однорядки – это хорошо, тепло будет, – одобрил Космач.

– На будущий год приходи, ждать буду, – вдруг сказала Вавила. – И молиться за тебя.

Он стоял ошарашенный, не зная, что и ответить, а эта лесная дива засмеялась, поманила рукой и повела через высокий березовый лес. Остановилась перед невысоким курганом, увенчанным округлым камнем.

– Вот здесь стану молиться. Сей камень заповедный, сонорецким старцем Амвросием намоленный. Встанешь на него, и небо открывается, проси у Господа все, что пожелаешь. Как явился ты к нам, я пришла сюда и помолилась, чтоб соединил нас с тобой.

– Да как же, зачем? – совсем уж глупо и невпопад спросил Космач, но это ее рассмешило.

– Глянешься ты мне, Ярий Николаевич! У батюшки спросишь, так пойду за тебя! Токмо не Вавилу – Елену проси.

Тогда он еще не знал о двойных или даже тройных именах у странников.

– Почему же Елену?

– Мне первое имя Елена, от крещения данное. Станешь просить Вавилу, он лишь посмеется и не отдаст. А назовешь мое истинное имя, сразу поймет, что я согласна, и Господь благословит. . . Ну, ступай, ступай! Ангела тебе в дорогу!

Он не слышал, как боярышня проснулась и встала: или сам в тот момент был слишком далеко, или она, привыкшая к незаметной, скрытной жизни, оделась тихонько, как мышка, и вышла из горницы. Платье было уже другое, красивое, но мягкое, из котомки; не досохшие, обвязанные платочком волосы лежали на плече, оттягивая голову чуть набок, златотканый кокошник со стрельчатым узором напоминал корону.

Шел только четвертый час ночи. . .

– С легким паром, странница, – проговорил он, появляясь из своего рабочего закутка; ждал недоумения, растерянности или гнева, но увидел испуг.

Она не спросила, зачем он снял власяницу и каким образом очутилась в доме, лишь потупилась и обронила хриповатым от сна голоском:

– Спаси Христос... А уже утро?

– Нет, боярышня, ночь.

– Что же я проснулась&то? От беда... Будто кто в плечо толкнул.

– Так уснула без ужина! Давай-ка, боярышня, садись за стол, прошу. – Космач придвинул табурет. – Отведай, чем бог послал.

– Ой, да Ярий Николаевич! – растерялась Вавила, увидев заставленный тарелками стол. – Чего это вздумал&то? Спать надобно, грех по ночам трапезничать. Коль воды дашь испить, так и ладно будет.

Космач достал из лейки розы, бережно стряхнул воду и вложил ей в руки.

– Это тебе, Вавила. С праздником!

У нее задрожали пальчики и губы, не смогла поднять глаз.

– Ой, да ни к чему, Ярий Николаевич... Не знаю, что и сказать&то... Спаси Христос...

А какой праздник&то ныне?

Он усадил ее к столу.

– Целых два праздника. Твое явление – первый! А второй – Женский день был, теперь уж вчера. Мы же с тобой как&то раз отмечали, помнишь?

Вавила отчего&то потупилась, отложила цветы и стала перебирать край скатерти.

– А Наталья Сергеевна к тебе не ездит из города?

– Нет, не ездит.

– Даже по праздникам не бывает?

– Не бывает.

Она поверила, улыбнулась не очень&то весело:

– Не хлопотал бы даром. Помолиться бы да спать. Ведь уснула, лба не покрестив...

А сама не сводила глаз с цветов, едва удерживалась, чтобы не потрогать томные, ожившие в воде бутоны.

– Вот накормлю, напою, тогда и спать уложу.

– Мне бы чаю токмо после баньки... Так пить хочется, во сне снилось, будто... – И оборвалась на полуслове, замолчала.

Космач включил чайник на рабочем столе, чтоб поближе, принес заварку.

Вавила вдруг насторожилась:

– У тебя травяной или казенный? Казенный – так нельзя нам. Когда Христа распяли, чай зацвел, обрадовался.

– Помню я, помню... Потому заварю каркаде, это из цветов египетских.

– Ну, из цветов&то можно...

И опять повисла напряженная пауза. Наконец закипел чайник, и боярышня оживилась, сама налила себе чаю и стала пить живой кипятком – только в кружке не бурлило. Он придвинул рафинад – песка староверы не признавали, а этот хоть не настоящий сахар, но все&таки...

– Ах, добрый у тебя чай, – похвалила с тревожными глазами. – Надо бы с собой взять...

Спохватившись, Космач разрезал торт, положил на тарелку перед Вавилой.

– Угощайся, ты же любишь!

Но она и кружку отставила, замолчала, задумалась, трогая пальцами шипы на цветах. Ему показалось, тревога и настороженность боярышни из&за того, что он грубо вторгся в тайную суть ее жизни, поддался порыву и срезал власяницу.

– Не жалею прошлого, – обронил он, присаживаясь рядом. – Теперь все будет иначе.

– Как будет, токмо Господь ведает, – после долгой паузы вздохнула Вавила и подняла голову. – На все воля Его, что проку роптать? А ведь грешим, фарисеям уподобившись. Доро-

гой тешилась одной думой, от иных отрекалась, как от искушений бесовых, да вот пришла&то с чем?

Это был некий ее давний, внутренний монолог, и Космач ничего не понял, но твердо знал правило, что задавать вопросы напрямую без толку: из&за чисто кержацкой природной скрытности и сопряженной с ней кротости сразу правду никогда не скажет, а начнешь потопрапливать, вообще может замкнуться и унести с собой то, с чем приходила. Надо было терпеливо ждать, когда душа ее оттаает, избавится от испуга, вызванного дорогой, чужими людьми и вот этой встречей, привыкнет к новому состоянию и раскроется сама.

– Смотрю на тебя, боярышня, – глазам не верю, – осторожно проговорил он. – Повзрела, расцвела.

– Не ходил к нам давно. Поди, уж седьмой год пошел. – В голосе послышался материнский упрек. – Как весна, так ждем, ждем... Особенно когда паводок схлынет и путь откроется... А потом еще к осени ждем, к началу Успенского поста...

Она говорила «мы», чтоб спрятать свои чувства, и, как всегда, задавала вопросы прямо и бесхитростно, а ответить так же было невозможно. Не оправдаешься ведь тем, что он давно не занимается наукой и вступил в непреодолимый *конфликт со средой обитания*, почему и оказался в глухой деревушке.

– А позвала бы, так пришел, – осторожно намекнул Космач. – Клестя-малой приходил, так и поклона твоего не принес. Подумал, забыли меня в Полурадах.

– Когда он уходил, я на Енисей бегала, – смутилась Вавила. – Но восточку от тебя принес. И оливки принес... Сказывал, вся жизнь переменялась. Токмо не взяла я в толк... Коль ты ученый, так ученый и остался. Должно, Клестиан Алфеевич чего&то напутал.

– Я попал под сокращение, уволили меня, сняли с научной работы.

– Чудно мне... Да и ладно, и хорошо. Взял бы да к нам пришел. Сколь уж Успенских постов отпустились?

– Ты прости меня, Христа ради, – повинулся он. – Тогда на пути мне Клавдий Сорока встретился. В общем, на Сон-реку водил. Я писал тебе, почему не успел к посту...

– Да слышала я... Ну, посмотрел Третий Рим? Прочел либерею?

– Прочел...

– Еще на Соляном Пути говорили, ты в Карелы ходил, у некрасовских был на Кубани?

– И там был...

– Широко ходил... Знать, иные места облюбовал, а к нам дорогу забыл...

Несмотря на скромность и даже робость, она умела быть беспощадной, выказывая свой ретивый боярский дух.

– Не забыл, боярышня. Сердцем все время в Полурадах.

– Ой, лукавишь, Ярий Николаевич... Из города сюда ушел, а что бы не к нам? Коли уходить от мира, так и от дорог его уходить.

– Чтоб жить в скиту, надо вашу веру принять, образ жизни. Я не готов был, да и сейчас...

– А ты пришел бы как ученый. Раньше&то приходил...

– Понимаешь, мне нельзя как раньше. Ни к вам, ни в другие места...

– А почто нельзя?

– Не занимаюсь наукой. Отлучили меня... А чтобы как раньше, нужен документ, специальная бумага из московского научного центра. Без нее запрещено работать в скитах.

– Боже правый, да кто же запретил?

– Есть правила, закон.

– Раз ты теперь не ученый, на что тебе правила? Мы же не ученые и потому без всяких бумаг ходим.

Простота и прямота ее аргументов всегда ставили Космача в тупик.

– За мной установили наблюдение, следили, – неохотно признался он. – Пошли бы по пятам, и выказал бы Соляную Тропу...

– Да ведь случается, и за нами следят. Поводил бы, покружил по болотам да и скинул со следа. Эвон собаки за сохатым вяжутся, а он найдет заячий след и сбросит на него.

Он не знал, что ответить, и потому уцепился за последнюю фразу, чтоб уйти от тяжелого разговора:

– Ты что же, сама за сохатыми бегаешь?

– А что за ними бегать? – пожалала плечами. – Сами приходят, а я выйду да стрелю... – Вавила отчего-то замолчала.

– Знаешь, все время вспоминаю, как мы с тобой расставались. У тебя в глазах такая тоска была... Думал, не уйдешь, вернешься.

– Вот и вернулась, – сказала невесело и в сторону: то ли чем-то недовольна была, то ли таила что-то...

– Как же ты отважилась в такую даль? – спросил он, чтобы подтолкнуть разговор.

– Кого послать-то, Ярий Николаевич? – Страница подняла огромные глаза и вздохнула. – Клестю-малого и ждать перестали...

Космач вспомнил признания Коменданта – за странником Клестей охотились! – но пугать своими предположениями не стал.

– А иные странники не заходят никак, мимо норовят, на Енисей, – продолжала она. – На Ергаче и вовсе говорят, мол, в Полурадах никого нету, молодые записались и в нефтеразведку подались, а остальные примерли все от горя да болезни, в колодах лежат... Как с того света к ним заявила, свят-свят, руками машут...

В позапрошлом году к Космачу приходил сонорецкий странствующий старец, тот самый Клестя-малой, который и сообщил, что три года тому благословил Углицких выйти в мир, после чего отец Вавилы Ириной Илиодорович взял жену, трех сыновей, вышел из скита и, отсидев всей семьей положенный срок в тюрьме, записался на другое имя (так делали все странники, уходя в мир: захочешь отыскать – не сыщешь, особенно если волосы подстригут и бороды сильно укоротят или вовсе сбреют), получил документы и подался в поселок нефтяников.

Кроме младшего сына Гурия, который не стерпел унижений в лагере, убил какого-то обидчика, разоружил охрану и сбежал, все остальные теперь живут в Напасае и вроде довольны, что вышли из скита с малыми потерями.

– Так вы в Полурадах с Виринеей Анкудиновной вдвоем остались?

– В хоромине-то мы вдвоем, а так еще Маркуша Углицкий с женой, да Елизарий Углицкий со стариками, да Фрося-блаженная. Все кланяются тебе.

– Спаси Христос, Вавила... А родитель твой как? Братья, матушка?

– Батюшка землю буравит, и матушка с ним, и братья... Токмо с Гурием беда. Должно, Клестиан Алфеевич говорил...

– Говорил... Что, так и не объявился братец твой?

– Будто на Ловянке видели, зимовал. Ушел потом...

Гурий был поскребышем, любимым младшим братцем, которого Вавила вынянчила. Клестя-малой рассказывал, что когда Ириной уводил семью в мир, его силком оторвали от сестры, которая благословения его не получила – так не хотел расставаться, будто чувствовал, как сложится судьба.

Странников, нарушивших заповедь «Не убий», совершивших смертный грех, называли заложными: мол, души антихристу заложили. Однако же их не чурались, хотя заживо отпевали и не впускали в скиты, они уподоблялись блаженным и бродили по Соляному Пути в одиночку, и если оседали, то селились в землянках поблизости от своих. Заложные были страстными молеельниками и постниками, носили вериги и выполняли обязанности судей, судоисполнителей и палачей одновременно. Они ловили и казнили разбойных людей, зашедших на Тропу

пограбить староверов, отбивались от казаков в прежние времена, а потом – от всевозможных начальников, уполномоченных и карательных отрядов. На Пасху старообрядцы посылали стариков с пищей и дарами к отпетым, которые не христосовались, но задабривали их как злых, но очень нужных духов. Среди молодых девушек на выданье существовала примета: если где на пути тебе встретился заложный, значит, точно в этом году жди сватов.

Космач единственный раз встречался с заложным странником, и то не ведая того – вместе ночевали в путевой землянке. Ничего особенного не заметил, молчаливый, самоуглубленный человек, угощал вяленой медвежатиной и наутро охотно рассказал, как спрямить дорогу.

– А что же Клестя-малой не благословил тебя, чтоб в мир вышла? – вспомнил Космач.

Вавила потупилась, перебрала руками край скатерти – будто бы раздумывала, как лучше сказать.

– Сама не захотела...

– Почему?

– Пора уж назад возвращаться, в скиты, – проговорила натянуто.

– Вот как? Кто же это решил так? Уж не Клестиан ли Алфеевич?

– Клестиан Алфеевич, – подтвердила осторожно, будто опасалась ненароком выдать какую-то тайну. – Повздорил он с братией на Сон-реке. Обвинил старцев, мол, напрасно они писали на весь Соляной Путь, что в мир выходить пора.

– А сам благословлял, чтоб выходили?

– Был такой грех у него. Да говорят, раскаялся он и братию к тому же призывал, но не послушали Клестю. – Боярышня вдруг заговорила с состраданием: – Тогда он в мир пошел, в большие города, чтоб поглядеть на него со всех сторон и старцам правду доказать. Мол, рано извели Соляной Путь, надобно вернуть отпущенных обратно и еще лет сто бы простоять... Но слух был, схватили Клестиана Алфеевича и посадили то ли в тюрьму, то ли в какую-то больницу. Клавдий Сорока выручать бегал, много где побывал, сам в юзилица попадал, но не сыскал нигде.

Эта история окончательно расстроила ее, и Космач пожалел и закаялся дальше спрашивать, пусть сама говорит. Однако боярышня сидела с опущенной головой и, видно, все еще жалела Клестю.

– Как же тебя бабушка отпустила? В эдакий путь? – все-таки спросил он, чтоб отвлечь ее от тяжелых воспоминаний.

– Отпустила. – Она встрепенулась, равнодушно взяла кубик сахара и кружку с огненным чаем, отхлебнула. – Елизарий бы, конечно, до Ергача добежал, но далее-то как? Примрет еще по дороге...

– А что же, на Ергаче тоже некого послать, коль сама дальше пошла?

– Аверьян с Евдокимом в бегах, на следующий год токмо ждут, а Шемяка старую избу ломал да ногу на гвоздь напорол. Лежит теперь, гниет. А ему сказывали: не забивай в дерево железные анчихристовы гвозди, не уподобляйся катам Пилатовым...

– И на Красном Увале никого не нашлось? – Космач поторапливал ее, зная, что если начнется хронологическое повествование, до утра не выслушать, и так уже скоро рассвет. – Там Авенир был легкий на ногу, да и Феодор Бочка...

– Ох, Ярий Николаевич, давно ты не ходил Соляной Тропой. – Она встряхнулась и стала отщипывать виноград по ягодке. – Авенир-то и правда скор был, да ведь жену себе привел из Килинского скита. Помнишь ли Софроньку Прибылова? Так его медведь заломал, вдова осталась. Как услышал Авенирка, так и побежал за тыщу верст, сватать. Встречал ее где-то по молодости, а после того забыть не мог, всю жизнь в сердце таил... Говорили, краса писаная, а привел – страх божий... Возле себя держит, не отпустила. Ну, а Бочка-то совсем худой стал, и так заговаривался, ныне же и вовсе мелет что ни попада... А по-за Обью странников почти не осталось, бояться ходить. Говорят, тамошние кержаки выдавать стали наших, и меня еще на

Увале предупредили... Да ничего, встретили... Разбогатели они там, клюкву собирают и сдают, денег много стало, и мне давали. Мол, не бей ноги, иди до Угута, оттуда самолеты летают, садись да лети. Только паспорт надо... Я уж ничего не сказала, лыжи новые у них взяла, мои совсем споркались, денег на автобус сами пожертвовали...

Вавила что-то вспомнила, задумалась, взяла цветы с колен, полюбовалась, прижала к лицу.

– Розы... Помню, ты мне дарил. Только те белые были.

И надолго замолчала, опустив глаза...

Темно-синее платье из домотканого полотна было с высоким и глухим стоячим воротом, скрывавшим шею, и по нему к груди и плечам растекался вышитый замысловатый узор – что-то вроде арабского орнамента, наверняка срисованного с книжных заставок. Космач ощутил желание прикоснуться к ней, тронуть влажные волосы на плече, руку, но она угадала его чувства, смутилась еще больше.

– Что так смотришь, Юрий Николаевич? – впервые назвала его настоящим именем.

– Отвык от тебя, боярышня. – Он отодвинулся подальше вместе с табуретом. – Давай-ка пировать! Сейчас я поставлю варить пельмени, и мы с тобой выпьем за встречу! Скоро утро на дворе, а мы сидим...

– Ой, да что ты говоришь-то, Ярий Николаевич? – устрашилась. – И не думай даже! Зелья в рот не возьму!

– Это шампанское...

– Лучше фрукты поем! Да вот еще маслины...

Вкусы у нее были неожиданные для староверки-скитницы и оригинальные. Если кто-то из странников заходил к Космачу, тот обязательно посылал Вавиле баночку маслин. Она ела их по одной ягодке в день, растягивая удовольствие, а косточки садила в землю или горшочки, пытаясь вырастить оливковое дерево...

Космач вскипятил на плитке воду, засыпал пельмени, и когда вернулся, боярышня с детской непосредственностью играла гроздью винограда.

– А ты давно ли здесь живешь? – спросила невзначай.

– Седьмой год пошел...

– Значит, Наталья Сергеевна с тобой из города не пошла?

– Опять ты за свое, Вавила Иринеевна! – шутливо заругался он. – Я тебе много раз говорил, она мне не жена. Мы вместе работали.

Непонятно было, удовлетворил ее такой ответ или просто решила уйти от неприятного ему разговора.

– Росли бы у нас такие сладкие ягоды, – сказала с неожиданной грустью, рассматривая виноград. – А то все клюква да брусника, как ни морозь, все горько. И цветы такие не цветут... Все у тебя так красиво! Виноград какой, а маслины так и есть-то жалко.

Спохватилась, что много говорит пустого, достала и подала скомканную бумажку.

– Анкудин... С Красного Увала послал. Для лодки ему надо.

На клочке газеты была нарисована дейдвудная труба с редуктором от лодочного мотора «Вихрь».

– Ладно, куплю ему запчасть, – пообещал Космач. – Но с кем послать?

– Унесу, – бездумно обронила она.

– Знаешь, сколько эта штука весит?

Вавила промолчала, глядя в пол. От златотканого кокошника алое лицо ее золотилось и напоминало иконописный лик.

– И это ведь не один заказ. – Космач подталкивал ее к деловому разговору – отвлечь хотел и думал: может, хотя бы намеком обмолвится, что погнало ее в такую дорогу.

– Еще Филумен с Урмана кланяться велел и патронов просил. К винтовке. Триста в аккурат...

– Вот, еще шесть килограммов...

– Феофания Сорока тоже кланяется. Ей сковородку надо. Кто-то сказал, есть такие сковородки, к которым не пригорает. Но даром ей сковорода, на голову ослабла...

– Скажи-ка мне, боярышня... Сам Сорока письма с тобой не прислал?

– На словах велел передать... В Стрежевой старице бочки засмоленные утоплены. Да не поднять никак, замыло, и больно глубоко, до семи сажен будет. И еще есть бочки в Варваринном озере, которые зимой со льда можно достать воротом, ежели летом нырнуть да веревки привязать. Ну и на Сон-реке возле Красного Яра. Токмо там известно что. – Она перекрестилась. – Мумы египетские, старцы покойные.

Сонорецкие старцы, жившие монастырским братством, хоронили своих умерших способом невиданным и, в представлении других старообрядцев, поганым и антихристовым: еще теплое тело покойного садили в бочку и заливали свежим, а если зимой, то разогретым медом. Через три дня мед сливали в специальную яму и закапывали, а мертвеца заливали новым. Таких операций производили до восьми, в зависимости от роста и полноты, постепенно превращая тело в мумию. После чего бочку наполняли в последний раз, закупоривали, засмаливали в несколько слоев, обматывая холстом, и погружали на дно реки в самом глубоком и тайном месте.

А говорили так: когда на земле наступит такое время, что и Сон-река высохнет, то старцы встанут. И горе тому, кто поднимет хоть одну бочку со дна и выпустит муму раньше срока.

– А еще Адриан Филатович просил... бусы янтарные.

– Это зачем ему бусы?

– Дочка у него младшая зобом заболела. Сказали, будто помогает.

– Что же не сведет к сонорецким старцам? Полечили бы...

– Говорит, они птицам молятся да солнышку кланяются. Еретики и бесермене...

– Ты же знаешь, это не так.

– Да знаю... – Она снова осеклась, случайно выболтав сокровенное.

– И бусы найдем... Ну а сколько времени шла-то? – осторожно спросил Космач.

– А на Федора Стратилата побежала, так получается, двадцать девять дней. Три пары лыж исшоркала до Северного. Не ходом шла, отдыхала. Зимовья по тропе еще стоят, хоть и неказистые, да не порушились. Натоплю камелек, нагрее воды, вымоюсь вся да и сплю себе... Две ночи лишь в снегу ночевала, какие-то люди избушки заняли, следы видела. Должно, охотники или беглые. Это уж возле Аргабача...

– Неужели и в Аргабаче странников не принимают?

– Как не принимают? – изумилась Вавила. – Там есть наши. Правда, многие в бегах. Я и в баньке напарилась уж по-настоящему, и на перинке поспала. Авксентий Зыков сам вызывался, заодно, говорит, и Юрия Николаевича повидать... Да что уж я, триста верст не пробегу до Северного, коли больше пробежала? Там у них заветный камень стоит, Клестианом Алфеевичем намоленный. Так я забралась на него, помолилась о дороге, путь мне и открылся. Другие лыжи взяла и так ходко пошла, что за седмицу прискочила. Снег добрый был, не теплел, так я раз толкнусь и будто на крыльях!..

Она пригасила в себе восторг, словно в лампе свет убавила, но через мгновение что-то вспомнила, снова рассмеялась.

– В Северном пришла на автобус, там паспорта не спрашивают... Хотела билет купить, деньги подаю... А мне говорят, старые деньги! Давно уж не годятся!

– Обманули тебя заобские, боярышня...

– Да как обманули? Ни!.. Должно, и сами того не знают. Им за клюкву такие дают! Мужики с самоходки!

– Как же ты без билета приехала? – любясь Вавилой, спросил он. – Сейчас даром не возят.

Странница улыбнулась с детской хитрецей:

– Когда я у Савелия Мефодьевича переделалась в Северной... Не стерпела и колечко надела на пальчик, с маленьким камушком. А мужик из автобуса увидел, говорит, отдай, так я тебя даром свезу. И свез!

Космач лишь головой покачал:

– Я говорил тебе... Никогда ничего не отдавай.

– Да оно простое было, серебряное, – виновато вымолвила она и полезла в свою котомку. – У меня еще есть! Красивые!.. А то как бы я доехала? От Северного еще двести верст... Вот, смотри!

Вавила достала узелок, развязала одну тряпицу, вторую, и в третьей оказалось несколько перстней – нанизала их на пальцы, показала Космачу. А он, пользуясь случаем, взял ее руки в свои – горячие и от того немного жестковатые, поднес к своему лицу, как сокровища.

Золото было холодным и леденило пальчики.

– Погляди-ка, какие они красивые!

Пожалуй, Алмазный фонд купил бы все без всякой экспертизы: сапфиры, изумруды и один крупный бриллиант наверняка индийской работы. Даже на глазок этим сокровищам будет лет шестьсот – семьсот, а может, и того больше...

– А почему ты так смотришь? – вдруг спросила она. – Ты не смотри по-ученому, на красоту полюбуйся.

– Да я люблюсь. Только зачем таскаешь с собой такое богатство?

– Какое уж богатство?.. Это мне матушка дала, на приданое. Больно поносить хочется. Остальное в Северном оставила...

Он не стал пугать ее миром и современной жизнью, ни к чему ей знать, что за паршивую сережку убить могут не моргнув глазом.

– Мы завтра и то колечко вернем, – пообещал, не отпуская рук.

– Да уж не надо, нехорошо. Совсем уж простенькое...

– Он тебя обманул!

Вавила не хотела быть обманутой, смутилась.

– А как же мы вернем?

– Найдем водителя на автостанции... Ты запомнила его?

– Такой бритый...

– Они все бритые. В лицо узнаешь?

– Да узнаю. – Она что-то заподозрила, осторожно высвободила руки, но один из перстней коснулся огромной окладистой бороды Космача и зацепился. Вавила потянула и засмеялась: – Ишь, привязал! Отвяжи-ка, не то и веника твоего не останется! Как дерну вот!

И пока он выпутывал перстень, ее пальчики бездумно трогали бороду, и едва рука освободилась, как Вавила покраснела и отвернулась в великом смущении. Торопливо посдергивала украшения, завязала в тряпочки, сунула в глубину котомки. И что-то там нащупала еще, просяла.

– Свиточек тебе принесла, вот возьми-ка...

– Что это?

– Да ты искал... Сонорецких старцев послание пророческое на окончанье великого лесного сидения.

Свиток находился в кожаном чехле, завязанном с двух сторон, и напоминал длинную и толстую конфету. У Космача непроизвольно затряслись руки.

– Боярышня... Свет очей моих... Где же ты отыскала?..

– Спросила стариц на Сон-реке, они и благословили меня свитком.

Случайно проговорила, что была у сонорецких старцев...

– С этим и шла ко мне?

Вавила спохватилась, что сказала лишнее, вдруг принялась:

– Ой, дымом пахнет! Ужель не чувствуешь?

Космач бросился на кухню; из кастрюли с пельменями шел синий дым. Впопыхах сдернул ее с плитки, обжегся, уронил, и пока искал тряпку, чтоб прихватить и поднять, задымился линолеум. Залил все из лейки, кастрюлю выставил в сени, вытер шваброй пол. И эти бытовые хлопоты слегка отрезвили его, а тут еще в окошко глянул – рассвело и метель завивает.

Когда же закончил с уборкой и вернулся, Вавилы за столом не было. Заглянул в горницу – лежит в постели, и розы рядом, на подушке.

– Ступай-ка спать, Ярий Николаевич, – строго посоветовала она. – Утро вечера мудренее.

А как пробудишься, так и спросишь. Ты ведь спросить пришел?

Он встал на колени рядом с кроватью.

– Сегодня скажи, сейчас... Зачем ты вериги носила?

– Ты ученый, ты все знаешь...

– Ничего я не знаю. Впервые на тебе и увидел...

– Грешна, Ярий Николаевич, оттого и наряд суров. А ты взял да и лишил меня крепости.

– В чем же грех&то твой, ангел?

– Замуж в срок не пошла. У нас ведь строго, коль к семнадцати летам не взяли – на тебе власяницу, абы мысленно не грешить.

– Кто же сплел ее?

Боярышня заговорила неожиданно низким, грудным голосом и нараспев, словно молитву:

– Сама и сплела. Белому коню хвост да гриву остригла. – Она резко села, сронив одеяло с груди. – Ты&то в миру живешь, свои законы и правила. И не знать тебе мук душевных и телесных, ибо ученый ты муж и вериги сам плетешь, из ума своего. Не знаешь, как грызет душу пустое чрево, а стыд какой и срам, когда скажут – перестарок! А когда всякую ночь страсти телесные треплют, подобно болезни падучей?.. Власяница, Ярий Николаевич, се есть спасение мое. Ты же снял с меня оберег, но ведаешь ли обычай?

– Не ведаю. Но догадываюсь. И мне радостно...

– Коли утром повторишь свои слова – поверю...

– Да ведь утро! Светает!

– Поди-ка спать, Ярий Николаевич, не мучай...

– Возле тебя останусь.

– Хоть ты и снял власяницу, но со мной не ложись, – назидательно произнесла она. – А вот когда ты мне наутро свое слово скажешь да заживут мои язвы и рубчиков не останется...

Не договорила, умолкла настороженно. Он нашел руку боярышни, прижал к щеке. Пальцы зарылись в бороду, потрепали ее и вдруг замерли.

– Оно и так грех... Ты ведь ученый был, да так и остался... Позрела, как взволновался, когда свиток взял. Наутро откажешься от меня, и снова вериги плести. Знаю, отчего в Полурады не пошел, а здесь поселился, при тракте. Ведь затосковал бы в скиту, к науке своей потянулся. И сейчас тоже затоскуешь. Что тебе станет лесная девка-перестарок? Неграмотная поповому, в мирской жизни глупая...

– Никогда больше не говори так, – оборвал Космач. – Не желаю слышать.

Вавила немного помолчала, зашептала тихо:

– Пресвятая Богородица, прости и помилуй. Не ведаю, что творю, да ведь муж сей от вериг избавил...

Космачу показалось, она заснула с этими словами, веки опустила, пальчики на щеке ослабли, и дыхание стало ровным.

– Человек от тебя пришел, – вдруг внятно и трезво проговорила. – На преподобного Савву...

– Какой человек?.. Кто?

– Назвался, а не ведомо, кто... От тебя, сказал...

– Я никого не посылал! Слышишь?.. Я никого не посылал!

– Да ведь пришел... Должно, худой человек. А я обрадовалась и к тебе побежала...

Несколько минут он стоял у кровати молча, руку ее спрятал под одеяло, жгут волос высвободил, потом взял за мизинец (говорят, так можно со спящими беседовать), спросил несколько раз, что за человек пришел и где он, но Вавила не отозвалась, лишь пальчик свой отняла.

Он снова взял, теперь всю руку, спросил:

– Пойдешь за меня?

Веки у Вавилы дрогнули – услышала, но глаз не открыла и ответила совсем невпопад:

– Мы его в сруб спустили... Обрадовалась и побежала.

Столь неожиданное сообщение боярышни не особенно и встревожило Космача. Сразу же подумал о бывшей своей ассистентке Наталье Сергеевне, которая теперь заведовала кафедрой в университете: она послала человека в Полурады! Больше никто бы не решился таким образом проникнуть в потаенный скит, где сама бывала, тем более никто бы не посмел воспользоваться его именем. Скорее всего, за неимением специалистов на кафедре, способных работать со старообрядцами, нашла подходящего человека, какого и будь профессионального артиста (слух был, строила такие планы), и заслала будто бы от Космача. И видно, не удался эксперимент, не ко двору пришелся чужак, коль Вавила здесь...

Космач поставил розы обратно в лейку с водой, пристроил ее в изголовье Вавилы на стул, чтоб запах чувствовала, и вышел из горницы. На глаза попал свиток, последнее послание сонорецких старцев, которое искал несколько лет, и потому где-то в глубине сознания поблескивал маячок любопытства, однако и распечатывать не стал, унес и спрятал в тайник. Потом побродил немного по узкой кухне, чаю хотел попить, отвлечься, но от смешанных, распирающих чувств захотелось чего-нибудь крепкого. Накинув полушубок, двинул на улицу, в метель.

Единственную улицу в Холомницах забило вровень с заборами, сунулся было вброд, но вернулся, нацепил лыжи. У Почтарей уже горел свет не только в избе, а и во дворе, значит, скотину обряжали. Старики эти жили в Холомницах особняком, сами никуда из хаты не вылазили и к себе не принимали, если только придет кто за молоком или горилкой, да и то за ворота вынесут. Все дачники считали их немного чокнутыми, а из-за нелюдимости подозревали, что связаны они с колдовством и нечистой силой. Особенно бабку Агриппину Давыдовну, которая, говорили, в лесу шалила: появится как черт из пня, напугает грибников или ягодников, и когда те убегут, корзины побросав, высыплет себе дары природы и была такова. В общем, плели о них всякую всячину. Работая в скитах, Космач и не таких чудес и рассказней наслушался, так что относился ко всему иронически, хотя по поводу необычности поведения и психического состояния Почтарей общее мнение разделял.

Он переступил ограду и вкатился по сугробу чуть ли не в сарай.

– Здравеньки булы, соседи!

Агриппина Давыдовна корову доила, чуть подойник не опрокинула.

– Мыколаич? Та шоб ты сказився! Сердце у пятках!

Дед Лука метал навоз сквозь окошко на улицу и даже не оглянулся. Его стоическому спокойствию в любых ситуациях можно было позавидовать.

– Прости, тетка Агриппина! А не продашь ли горилки?

– Та на шо тебе? Ты же ж не пьешь?

– Да вот что-то захотелось с утра пораньше!

Относительно спиртного старуха держала деда в черном теле.

Достала ключ, подала мужу.

– Видчини ларек, принеси горилки. Да сам не смий! Все сосчитано.

Почтарь принес бутылку самогонки, запечатанной как на заводе, но без этикетки, от денег отказался.

– Як ведьмак скончается, коня твоего возьму, за сином...

– А что, ведьмак умирает?

– Дывись, як витер дуе? Чортова душа метелится...

– Где же этот ведьмак?

– Да с того края хата. – Дед махнул рукой в конец деревни – не хотел даже по прозвищу называть Кондрата Ивановича: они то конфликтовали по неведомой причине, то мирились – не разлей вода.

– Он что, умирает?

– Свит усю ночь горит. Пишов побачить – лежит як мертвец...

Космач не дослушал и от Почтарей побежал напрямую, огородами, к усадьбе Коменданта – кто его знает? Может, не зря вчера исповедаться приходил?..

А тот, живой и здоровый, преспокойно орудовал лопатой в своем дворе.

Хозяйство у старика было маленькое, десяток кур в подполе, стайка ручных синиц, летающих за ним по деревне и просящих корма, да знакомый заяц, которому позволялось обгрызть яблони. По этой причине он больше занимался общественно-полезным трудом – расчисткой снега, и если не буранило, то пробивал дорожку вдоль всей деревни, до столба с фонарем и избы Космача.

Смотреть на бесполезный труд старика было больно, разрытую траншею тут же забивало снегом.

– Почтарь сказал, ты лежишь, как мертвец! – засмеялся Космач.

– Все, я лавочку эту прикрою! – сердито крикнул старик, а сам обрадовался. – Вчера яду какого-то продал, гад! Я с горя целый губастый стакан осадил и правда чуть не умер. Всю ночь полоскало, хорошо, организм крепкий, тренированный.

На самом деле самогонка была наверняка хорошей, за все время не было ни одной рекламации, просто Комендант всегда болел с похмелья...

– Пойдем-ка выпьем за праздник. Бросай лопату.

– А что выпьем-то?

– Горилки!

– У Почтаря брал?

– Где же еще?

Комендант хотел было отказаться наотрез и уж лопату вонзил в снег, однако в последний миг заколебался.

– Ну, он тебе какой-нибудь заразы не продаст, – сдержанно рассудил.

– Ему конь нужен, сено возить... А что за праздник?

– Вчера было Восьмое марта!

– Да-а... Великий праздник. Вот ты историк, должен знать, что произошло в этот день.

– Ладно, Кондрат Иванович, пошли в избу, там разберемся.

Комендант обрадовался Космачу, его приход, да еще с утра пораньше с бутылкой горилки, означал, что обиды больше нет. И выпить ему хотелось, однако просто так, без преюдии и значительности, для него было несолидно, и он продолжал экзаменовывать с наводящими вопросами.

– Ну так во имя чего революционерка Клара Цеткин провозгласила восьмое марта женским праздником?

– Если не хочешь со мной выпить, я уйду, – попугал Космач.

– С тобой хочю. Но мы должны знать, чьи праздники отмечаем... Так вспомнил, что произошло в этот день?

– Не вспомнил. Давай стаканы!

– Это праздник женской подлости и коварства. В этот день Юдифь отрубила голову Олоферну.

– Что за привычка у тебя? Возьмет и все испортит!

– Это должен знать каждый!

В доме у него была идеальная чистота и порядок – все, что осталось от его немецкой натуры, – так что пришлось скинуть валенки и надеть старенькие калоши. Старик выставил на стол тарелки с огурцами и помидорами, блюдец с сыром и рюмки, после чего набил яиц на сковородку.

– Женщина к тебе пришла – вот это праздник! – забалагурил, разливая первач. – Потому ты и прибежал, счастливый! А то придумал – Восьмое марта... Она что, спит?

– Спит.

– Значит, притомилась... Как зовут&то?

– Зовут Вавила Иринеевна, – сдержанно проговорил Космач. – Думаю, фамилию знать не обязательно.

Это имя было у нее для всех, кроме собственной семьи, родных и некоторых близких единоверцев. Существовало еще одно, первое, с которым она принимала крещение и держала почти что в тайне, – Елена Дмитриевна, поскольку ее отец тоже имел два имени, а еще и прозвище – Скула.

У старообрядцев из толка странников имена для общего пользования были такие, что без привычки язык сломаешь, и чем хлеще называли новорожденных, тем считалось достойней.

– Мудрено зовут... Слушай, Николаич! Ты же молодой, а женщины ездят редко. На моей памяти вторая за шесть лет, верно?

– Да нет, первая...

– Как же! Первая!.. А помнишь, приезжала из университета? Погоди, сейчас вспомню, как звали...

– Так это же с работы!

– Ну да! А чего же она не уехала, ночевать осталась? – Он выпил и подмигнул. – Эта, Вавила Иринеевна, опять из университета или невеста? Если думаешь, я для доноса спрашиваю, не говори.

– Хоть как не скажу. Суеверный стал, – усмехнулся в бороду Космач. – Спугнуть боюсь.

– Правильно, дело такое... Откуда будет?

Все это напоминало допрос, но скрывать от него что-либо сейчас не имело смысла: если он уже в течение шести лет отслеживал всех гостей с Соляной Тропы, знал тайники в доме и ничего особенного не произошло, то, пожалуй, и в самом деле прикрывал его от всех любопытных.

– Помнишь, рассказывал, как в экспедиции ходил, к старообрядцам?

Комендант обладал хорошим воображением и профессиональной памятью, все понимал с полуслова, головой покачал.

– Замечательная история... Так она из лесу пришла?

У Космача после рюмки на голодный желудок зашумело в голове.

– Из Красноярского края. Пересекла поперек всю Западную Сибирь, на лыжах, в одиночку и без всякого обеспечения. Примерно по шестидесятой параллели, за двадцать девять дней две с половиной тысячи километров.

– Такого не может быть, – решительно заявил Комендант. – Это что получается, больше восьмидесяти в сутки? Да с такой скоростью самый крутой спецназ не бегают.

– А странники бегают. Некоторые в два раза больше.

Похмелившийся Комендант тоже разогрелся, убрал маломерные рюмки и достал два гра-
ненных стакана, налил до краев.

– Легкая на ногу, ничего не скажешь. А песен, случайно, не поет?

– Не слышал.

– Должно быть, много молится, если из кержаков?

– Тоже вроде не замечал. Так, перекрестится, пошепчет...

– Это еще ничего... Ладно, поздравим ее с переходом! В Книгу рекордов Гиннеса можно заносить.

Комендант выцедил горилку до дна, закусил моченым помидором.

– Не все так просто будет, Юрий Николаевич. Не сейчас, впоследствии развития отно-
шений.

– Да и сейчас есть кое-какие проблемы, – признался Космач. – Может, придется с ней
в скит пойти.

– Вот этого не советую! Ни при каких обстоятельствах!

– Нет, мы пока еще не решили. Проснется – поговорим.

– Не оттягивай, надо решать! Послушай старого опытного человека. – Кондрат Иванович уже входил в возвышенное состояние. – Был один памятный случай. Шестьдесят шестой год, маленький островок Талант в Карибском море, всего в трех милях от Кубы. Архипелаг Хардинес-де-ла-Рейна, прошу не путать с островом Мари-Галант в архипелаге Малых Антильских. Да... Там находился строго засекреченный объект... Представляешь, буйная растительность, влажный, тенистый тропический лес. А местные жители – испаноговорящие изрядно одичавшие метисы, совершенно мирные и покладистые рыбаки. Галантные люди!.. Выходить в море было нельзя, кругом стояли американские катера, минные заграждения, и несчастные островитяне питались водорослями и моллюсками. Передо мной была задача вписаться в их среду и выявить сигнальщиков. Предатели завелись, американским кораблям семафорили обо всех передвижениях береговой охраны. А я в молодости был чернявый да еще загорел, и меня скоро стали принимать за своего. Я построил хижину под пальмами и поселился в тридцати ярдах от моря. После каждого отлива на берег приходила девушка талантка, я ее Любой звал. Собирала водоросли и складывала их в сумку от противогАЗа. И пела при этом! Все время слышал ее голос сквозь прибой...

Комендант неожиданно склонил голову, молча налил себе полстакана самогонки и попробовал запеть на испанском, но лишь сдавленно засипел, махнул рукой и выпил.

– Голос был удивительный. – Утер кулаком слезы. – А сама так прекрасна!.. Маленькая, миниатюрная, но тело в совершенных пропорциях. Взял бы на руки и не спустил больше на землю... И прошу заметить, носила только набедренную повязку – одежды у талантов давно не было, да она там и не нужна... Никогда больше не встречал такой красоты! Я ждал сначала прилива, потом отлива, считал минуты, когда она придет, и лишь наблюдал за ней, иногда с небольшого расстояния. И так страдал! Но даже не мог подойти к ней и заговорить, инструкции были очень строгие. Она тоже меня видела, я не прятался... И вот однажды сама прибежала ко мне взволнованная и сказала, что движется тайфун, мне надо спастись, иначе я погибну в своей хижине. Никаких предупреждений о тайфуне не поступало, и я сначала не поверил, но таланты, эти дети природы, чувствовали приближение разрушительной стихии как звери... В общем, мы побежали в глубь острова и спрятались в небольшом гроте. Бурю пересидели, прижавшись друг к другу, и когда утихло, нам не захотелось выходить...

– Счастливый ты человек, Кондрат Иванович, – грустно позавидовал Космач, воспользовавшись паузой. – Такая содержательная жизнь... Только про это вроде бы сериал показывали? Испанский?

– Ты что, какой сериал? Это все из личной жизни прапорщика Гора!

– Тогда да, приключения у тебя, как у Робинзона.

– Ну уж на хрен такие приключения! – неожиданно зло отозвался Комендант и допил остаток из горлышка. – Нет бы подождать, присмотреться, а я на следующий день побежал и доложил по команде, мол, так и так, – строго у нас было. Начальство вдруг признает мою адаптацию к среде успешной и дает добро. Я на крыльях! Новую хижину вместе построили, до прилива по джунглям червей всяких, улиток собираем да едим – она поет, после отлива водоросли, потом всю ночь у нас любовь с ней – она все поет. На сезон дождей пещеру оборудовали и перебрались туда – красота! Месяц все это гуано едим, я песни слушаю, второй едим – слушаю. Когда один был, снабжали и консервами, и хлебом, и фруктами. Кофе по утрам пил! Тут же ничего не дают по соображениям конспирации. Сразу подозрение – откуда взял?.. Но главное не это, конечно. С ней ведь не о чем говорить! У меня к тому времени десятилетка была за плечами и два года специальной подготовки. Она же, кроме еды и любви, ничего больше не знает и знать не хочет. На пятый месяц наконец то к словам ее песен прислушался – поет про червяков, про водоросли, ну и про это самое, конечно, открытым текстом! Мой любимый, овладей мной, и у нас родится красивенький сыночек, а я ему соберу самых вкусных червячков... В общем, как у чукчей... А в семейной жизни, Юрий Николаевич, важен душевный разговор. Общение!.. Ты не обижайся, но о чем ты, кандидат наук, станешь разговаривать со своей девушкой из красноярских джунглей?

– Да мы бы нашли о чем. – Сморенный теплом и самогоном Космач чувствовал благодушие.

– Месяца на три нашли бы, а потом взвоешь. Это я как мужик мужику говорю. Тебе нужна жена с образованием и соответствующим развитием. Знаю, скажешь, принцип сообщающихся сосудов? Ничего подобного! Темнота и дикость – вещи заразительные и имеют высокий энергетический потенциал. Не заметишь, как у самого начнется деградация. Через полгода жизни с красавицей Любой я стал замечать, что водоросли не такие уж и гадкие и петть хочется о том, что вижу.

– Может, это и неплохо, Кондрат Иванович?

– Неплохо? – возмутился тот.

– Мы ведь к тому и пришли: живем, как на острове, разве что червей не едим. Ты же мог уехать в цивилизованную Германию? Мог. А уехал в дикие Холомницы.

– Ты теперь знаешь, почему я уехал. – Комендант несколько сбавил напор. – Да и не про меня речь. Ты молодой, сорока нет, в девках засиделся. Промахнешься в первый раз, во второй жениться будет поздновато. Послушай меня, присмотришь! Может, она проникла к тебе в крепость, чтоб головенку смахнуть, как Юдифь Олоферну?

– Лет десять присматриваюсь, хватит.

– Та, что первая приезжала, – вот тебе пара была. Мы с ней на скамеечке посидели вечером, поговорили... Как звали ее? Наталья Сергеевна? Вот с кем можно в хижину, на берег Карибского моря. Умная женщина, развитая.

– Слишком умная! – усмехнулся Космач. – Вот с такой то как раз и пропадешь. Что на острове, что в скиту.

– Да что ты понимаешь? – обиделся Комендант. – Ну, женись на своей необразованной кержачке. А я посмотрю, как ты через полгода взвоешь.

– Моя кержачка сдала за десятилетку и владеет четырьмя языками. Это не считая русского и английского. Правда, английский она наверняка забыла.

Кондрат Иванович изумился, вытянул губы трубочкой. Он считал себя чуть ли не полиглотом, хотя Космач слышал лишь песни на испанском, некое бормотанье на немецком, и то по пьяному делу. Больше он пел на русском «Куба, любовь моя...».

– Ну и какие, например?

– Древнегреческий, арабский, арамейский. Ну и древнерусский.

Комендант и глазом не моргнул, разве что чуть подзатынул паузу.

– Сбегай к Почтарю и принеси еще один флакон. Я бы сам, но он опять отравы даст...
А я тебе другую историю расскажу!

– Не могу! – Космач встал. – Конь не поен, вода не ношена, печь не топлена, и боярышня почивать изволит после дальней дорожки. А ну как проснется, а меня нет?

Комендант лишь вздохнул тяжело.

– Скоро тебя водорослями накормили. Эвон как запел...

2 Мастер

Академик начал умирать в ночь с пятницы на субботу, как и положено много прожившему на свете и благопристойному человеку, в собственной постели, в стенах просторного, заставленного книгами кабинета, но в присутствии одной лишь сиделки, стареющей, сутулой секретарши. Она дежурила бессменно вот уже двое суток, как только случился очередной микроинсульт и восьмидесятивосьмилетний старец впал в состояние между жизнью и смертью, лежал в полубессознательном состоянии, не отвечал на вопросы, однако изредка будто просыпался и просил сделать укол.

Лидия Игнатьевна за все это время глаз не сомкнула, встречала и провожала врачей, устраивавших консилиумы прямо возле умирающего, людей, узнавших о критическом состоянии академика, надоедливых, беспардонных журналистов, и от всего этого сильно притомилась, задремав в кресле у кровати, но ни на мгновение не выпустив дряблой старческой ладони.

Известный на весь мир ученый и на смертном одре оставался таким же, как в жизни, – непроницаемое бледное лицо, бесстрастные и чуть оловянные от внутренней сосредоточенности глаза, неспешные и ничего не выражающие движения, тем более никак не изменился скрипучий, однотонный голос. Эта его закрытость была тоже знаменита, особенно после того как он получил Нобелевскую премию и данное журналистами прозвище Мастер – эдакий намек на масонство. Как только пресса ни пыталась снять с него маску, возбудить и даже вывести из себя, чтоб заглянуть внутрь, – лауреат оставался стоически спокойным и почти бесчувственным. Однако пробывшая рядом с академиком, пожалуй, лет сорок Лидия Игнатьевна настолько изучила образ жизни и нрав Мастера, что определяла его состояние по неуловимым для чужого глаза деталям: как он держит карандаш, носит шляпу, какого оттенка тяжелые, мясистые мочки ушей, даже – какой ветер исходит, когда он движется по коридору или приемной.

Сейчас сквозь дрему она ощутила легкий толчок, после чего показалось: начала холодеть рука академика.

Он был в сознании, но на сей раз не попросил укола.

– Да, – проскрипел. – Леденеют конечности... Мне зябко...

– Доктор! – Она бросилась в смежную комнату, где на диванчике спал дежуривший врач.

– Не нужно доктора, – невозмутимо прервал академик. – Не тревожьте, пусть отдыхает.

Мне холодно, остывают ноги...

– Я укурую! – Лидия Игнатьевна схватила старый клетчатый плед, но тут же осела: академик пошевелил умирающими пальцами, что означало неудовольствие.

– Нет, это первые признаки... Где люди?

– Я сообщила всем, кого вы указали в списке.

– Что же... Позовите... Хотел бы видеть профессора Желтякова в первую очередь. Из Петербурга.

– Его нет... Никто еще не прибыл. Но в передней ждут представитель президента, два журналиста с ОРТ...

– И это все?..

– Нет, еще господин Палеологов, наша аспирантка Лена и врач...

– Почему они не приехали? Вы передали мою волю?..

– Да, я все исполнила, но прошло мало времени, и никто не успел приехать.

Она не могла сказать, что извещенные два дня назад и собравшиеся в доме близкие люди просто устали ждать, когда наступит час прощания, последних наказов или хотя бы когда Мастер придет в себя, и под разными предлогами покинули квартиру умирающего. Тем более

– наступала ночь. Никто из них не надеялся, что он еще встанет, и потому была общая просьба звонить в любое время дня и ночи, если произойдут какие-то изменения в любую сторону.

– Сейчас же всех еще раз обзвоню! – Лидия Игнатьевна хорошо понимала близких в окружении академика и постаралась их защитить. – Они в пути и приедут!

– Что говорят врачи? – бесстрастно спросил Мастер и снова пошевелил пальцами. – Скоро?..

– Последний консилиум состоялся в шесть часов вечера. Кризис миновал! Дело пойдет на поправку...

– У меня стынут руки. А они говорят – миновал. – Он перевел взгляд на список в руках у сиделки. – Ждут. Все ждут... Кто это составлял?

– По моей просьбе госпожа Наскокина, депутат Государственной думы.

– Да... Прошу вас, не звоните этой барышне и не впускайте, если приедет сама.

– Она так хотела что-то сказать вам...

– Я при жизни от нее устал.

– Хорошо.

– Почему здесь нет Желтякова? Вы звонили ему? Он приехал из Петербурга?

– Его никто не знает. – Лидия Игнатьевна растерялась. – Я тоже никогда не видела профессора в лицо... Возможно, приехал. Несколько часов назад заходил какой-то человек... Узнал, что вы без сознания, ушел и не представился. Позвоню еще раз в Петербург!

– Сделайте милость, и немедленно, – виолончелью пропел голос Мастера, что означало нетерпение. – И спросите, где он остановится в Москве. Найдите его!.. Не могу умереть, пока не увижу...

Он прикрыл глаза, будто снова впал в забытие, а взволнованная и раздосадованная сиделка тем временем торопливо набирала междугородний номер. И не успела – академик поднял пергаментные веки.

– Идите в другую комнату. А ко мне пригласите представителя президента.

Не прошло и минуты, как на пороге очутился лысоватый краснолицый человек в сером костюме с повадками старого слуги при высокородном господине, что выдавало в нем бывшего партийного функционера.

– Президент выражает глубокое сопереживание и надежду на ваше выздоровление, – он с порога начал выдавать заготовленную речь, – и продолжает настаивать на помещении вас в «кремлевку», к лучшим врачам...

– Оставьте, – оборвал его академик и указал слабым пальцем на стул у своих ног. – Старость не лечится, он это знает. Когда-то и я должен умереть...

Представитель послушно сел, однако настороженный референтами, не мог оборваться на полуслове и не высказать всех обязательных предложений. И одновременно смущенный, возможно, от радости, что довелось лицезреть Мастера, заговорил обрывками фраз, должно быть, путая теперь две заготовленные речи – у постели больного и над гробом:

– Вся мыслящая Россия осознает... Гордость за то, что мы были современниками великого ученого... Вы интеллигент номер один... Президент намерен лично посетить вас, как только вернется из зарубежной поездки... Вас по праву называют совестью нации...

Несмотря на слабость, академик чувствовал ясность собственной мысли и потому особенно сильно слышал фальшь и неискренность этого человека, но дело было вовсе не в том: что еще должен говорить присланный президентом чиновник? Холод действительно прилипал к подошвам, словно Мастера поставили босым на каменный пол, была опасность, что осталось совсем немного времени, и терять его попусту не хотелось.

– Я умираю, – напомнил он. – И прошу выслушать...

Наконец-то представитель заткнулся, чуть подвинул стул вперед и, склонив лысую голову, замер, как микрофон.

– Передайте господину президенту... Дословно...

– Да, я слушаю. Слушаю!

– Не следует останавливаться на достигнутом. Победа не так близка, как ему кажется, видимы лишь ее некоторые знаки. Материал имеет достаточный запас прочности... Возможен качественный переход. Перекристаллизация твердого тела, чего допустить невозможно. Только законы... физики и тотальный контроль над процессами... Вы все запомнили?

– Могу повторить!

– Не мне – ему повторите: законы и контроль.

– Я не совсем понял... Что это значит?

– Вам и не нужно понимать. Все, больше не задерживаю...

Опытный партийный функционер хорошо осознавал свое положение, больше ничего не уточнял, не вдавался в подробности и не просил разъяснений, но не ожидал столь короткого и скорого наказания.

– Выздоровливайте. – Неловко замялся. – Мы все надеемся... ждем... До свидания!

В последний миг решился – прикоснулся горячей рукой к ледяной грозди пальцев. И это было неприятно Мастеру: окружающий мир отдалялся вместе с уходящим теплом тела...

Лидия Игнатьевна ждала конца встречи за дверью.

– Я разыскала профессора Желтякова! – заговорила шепотом, поправляя потревоженную гостем руку академика. – Он уже в Москве и остановился в гостинице «Космос». Через сорок минут будет здесь.

– Это поздно, – не выражая чувств, проговорил умирающий. – Уходят силы... И начинаются головные боли.

– Позвольте доктору сделать укол. Прошу вас!

– Нет... Наркотики подавляют волю и разум. Хочу умереть в сознании. – Академик потянулся к виску, но не донес руки. – И не могу, пока не увижу профессора... Да, сделайте милость, положите к ногам грелку...

Сиделка метнулась за дверь и через минуту принесла электрический сапог, бережно натянула его на желтые ноги и включила в розетку.

– Сорок минут жизни... – скрипуче и сквозь зубы произнес Мастер. – Возможно, они станут самыми важными... И трудными.

– Закройте глаза и постарайтесь уснуть, – посоветовала Лидия Игнатьевна. – Это вам поможет, и быстрее пройдет время.

– Уснуть? – Его длинное лицо еще чуть вытянулось – кажется, негодовал. – Проспать последние минуты жизни?.. А может, и умереть во сне? Нет, слишком великая роскошь... закончить одну-единственную жизнь... Желтяков заставляет меня жить... И страдать.

– В передней находятся тележурналисты, – мягко напомнила сиделка, чтобы отвлечь его от самого себя: академик любил встречаться с прессой, хотя в последнее время редко появлялся на экранах. – Ждут с утра... Уделите им несколько минут.

– Какое бездушие. – Он зашевелил кистями рук, будто хотел сжать кулаки. – Какая мерзость... Чему я учил? Неужели они хотят взять интервью у умирающего человека?

– Не простого человека. Вы – эпоха...

– Помолчите, Лидия Игнатьевна. Я учил красоте, эстетике... С такой скоростью деградации... Они станут делать репортажи из секционного зала анатомки... Не впускайте. Не давайте снимать меня мертвого. Хотя бы пока я в своем доме...

– Простите, – повинилась она. – Не позволю... Но мне нужно обзвонить всех, по списку... Не хочу оставлять вас одного.

– Хорошо, кто еще в приемной? – Его руки медленно успокоились.

– Господин Палеологов и аспирантка, дежурит у дверей...

– Кто это – Палеологов? Странная фамилия... Не знаю такого господина...

– Он сказал, вы знакомы. – Лидия Игнатьевна торопливо полистала записную книжку. – Но я тоже никогда не видела его у вас... Да, вот... Предводитель стольного дворянского собрания.

– Предводитель? Дворянского?.. – Уголки синюшных губ академика слегка оттянулись книзу – должно быть, улыбнулся. – Какое недоразумение...

– Еще он возглавляет исследовательскую группу при правительстве Москвы, – уточнила сиделка, разбираясь в своих записях. – Личный патронаж мэра...

– Что же исследуют?..

– Ведут розыск библиотеки Ивана Грозного... Весьма настойчивый молодой человек.

– И что же он хочет?.. – Академик наконец до дотянулся до виска, но лучше от этого не стало. – Библиотека... Грозного... Какая несусветная глупость... Почему мэр никогда не говорил, что ищет либерку? Нет, скорее всего, он не тот человек, за которого себя выдает... Не впускайте, прошу вас...

– Хорошо, хорошо...

– Пригласите аспирантку... Как ее зовут? Лена?

Молодая женщина в строгом темном платье переступила порог и на миг замерла, не зная, что делать дальше. На бледном личике оставались живыми лишь большие влажные глаза, и причиной ее смущения и испуга было то, что она видела перед собой не известного на весь мир академика и нобелевского лауреата, допуск к которому даже в самые лучшие времена был строго ограничен, а просто умирающего человека.

– Не бойтесь, – подбодрил он. – Подойдите ближе... сядьте вот сюда, в кресло... И дайте руку.

Противясь своим чувствам, она механически выполнила просьбу – узкая, белая ее ручка оказалась холоднее, чем у остывающего академика.

– Какие глубокие и голубые глаза, – проскрипел он. – И ледяная рука... Вам не пришлось быть у смертного одра... Это не страшно... Смерть, как и рождение...

– Я не боюсь, – вымолвила она. – Волнуюсь... А руки... всегда холодные.

– Это хорошо... Кто ваш руководитель?

– Владимир Львович... Страхан.

– Вам повезло... А тема диссертации?

– Если коротко... Понятия судьбы, рока в древнерусских литературных произведениях, народном эпосе, фольклоре... – Она чуть расслабила руку в вялой руке академика.

– Да... Непростая тема... И что, существовали такие понятия?

– В дохристианской Руси... Основа психологии поведения... И после...

– А как же Фадлан?.. Он утверждал... в Руси не ведают рока?

– Он путешествовал... – Рука аспирантки крепчала, однако теплее не становилась. – Не мог вникнуть глубоко... Не понимал сути, комплекс туриста, видеть все и ничего... А все кругом было насыщено волей судьбы... Ни соколу, ни кречету, ни птице гораздой рока не миновати... Налево пойдешь, направо пойдешь... Царевна-лягушка... Чему быть, того не миновать...

– Хорошо... Чему быть, того не миновать... Взять Фадлана под микитки... А вы сами верите в судьбу?

– Верю... Я к вам пробивалась много раз... И вот как свела...

– Нет-нет. – Академик будто согрелся и слегка оживал – головой пошевелил, стараясь лечь повыше. – Я хотел спросить вас... Знаете ли вы свою...

– Знаю...

– Так самоуверенно?..

– Судьба ученого-гуманитария известна в наше время...

– Ничего вы не знаете, сударыня. – Мастер вдруг указал на стол. – Прошу вас, подайте мне вон ту подставку... Бумагу и карандаш... Нет, черную авторучку, с чернилами.

Аспирантка пошла к столу, и в это время дверь тихо и коротко распахнулась, впустив незнакомого молодого человека в сером костюме и жизнерадостным, комсомольским взором – эдакий пламенный вожак молодежи.

– Простите великодушно. – Он приблизился к постели. – Вы должны меня помнить, был у вас на приеме в прошлом году. Моя фамилия – Палеологов, Генрих Сергеевич...

– Нет, не помню, – с уверенностью проговорил академик, неожиданно для себя любуясь его открытым, вдохновляющим лицом. – Говорите... Говорите, что вам нужно?

– Я от московского правительства. Мы занимаемся поиском феномена... известного как библиотека Ивана Грозного.

– Да, что-то слышал...

– Скажите, уважаемый академик... Вы как величайший специалист в области древнерусской истории и культуры можете подтвердить ее существование?

– Это весьма интересный... и более того, спорный вопрос, молодой человек...

– Библиотека была привезена в Россию.

– Некоторые свидетельства имеются...

– Это мне известно, – заспешил Палеологов. – Меня интересует... Вы сами видели рукописи, книги, принадлежащие к этой библиотеке?

Его напор и дилетантская конкретность вдруг стали неприятными.

– Вам что угодно?..

– Я хочу услышать внятный и исчерпывающий ответ!

– Не понимаю, о чем он говорит, – пожаловался аспирантке Мастер. – Зачем он пришел?

– Вам лучше выйти, – обрела голос Лена. – Или я позову Лидию Игнатьевну.

– Не с вами разговариваю, – отрезал молодой человек. – Не мешайте...

Секретарша была легка на помине, стремительно вошла в кабинет и мгновенно оценила обстановку.

– Как вы посмели? – Взяла за рукав Палеологова. – Немедленно выйдите!

– Очень жаль, – ведомый к двери Лидией Игнатьевной, проговорил тот. – Я еще приду. Дождусь очереди и приду. Вы не умрете, пока не скажете.

Аспирантка принесла то, что требовал академик, и в нерешительности стала возле постели.

– Станный молодой человек. – Умиравший попросил надеть на него очки и потом заставил держать над ним подставку с бумагой, но ручку взял сам и дотянулся золотым пером до листа.

– По-моему, этот человек... хам и наглец, – сказала Лена. – Сначала уговаривал меня пропустить, деньги предлагал...

– Как вы думаете... У него счастливая судьба?

– Наглость – второе счастье...

– И вы будете... – Мастер поднял глаза. – Никто не знает своей судьбы... Напишу в ученый совет... Утвердят без защиты...

– Наверное... это невозможно...

– Ваша судьба – на кончике моего пера... – Он начал писать, но рука была настолько неуправляема, что получались неразборчивые каракули, однако это ничуть не смутило академика. – Как вас... Полное имя...

– Я не верила, чтобы вот так, вдруг, – проговорила она отрешенно. – И можно быть счастливой...

– И будете... Фадлана под микитки... А я умру...

– Не умирайте...

– Еще напишу в Петербург, профессору Желтякову... Чтобы позаботился... о судьбе... – Рука Мастера не выдерживала напряжения, валилась вниз, и ручка оставляла на бумаге черные молнии зигзагов. – Впрочем... скажу ему сам, без письма... Эпистолярный жанр дается трудно...

Он передохнул, подняв на аспирантку выцветшие, почти неживые, да еще увеличенные стеклами очков глаза, и она не выдержала, отвела взгляд.

– Понимаю, сударыня... Смотреть на умирающего... Но вы прорывались. Судьба, в которую вы верите...

– Неужели... это возможно?..

– Я написал... в ученый совет, – сообщил ей Мастер и, выронив ручку, запачкал постель. – Ах, какая досада... Прошу вас, Елена, возьмите в руки... свою судьбу.

Она сняла лист с подставки, растерянно взглянула на письмо.

– Благодарю вас... Но тут...

Академик внезапно захрипел, стал вытягиваться и выгибаться. Зрачки исчезли, белые, страшные бельма выкатились из глазниц, и аспирантка в ужасе закричала. Сначала в кабинет влетел дежурный врач, кинулся к академику со шприцем, но отступил.

– Агония...

Лидия Игнатъевна вошла через несколько секунд, взглянула на умирающего и прошепела аспирантке:

– Убирайтесь отсюда! Быстро!

А та, перепуганная насмерть и до крайности возбужденная, обезумела, протягивала листок с иероглифами и шептала:

– Он написал!.. Судьба!.. По собственной воле!..

Тем временем академик расслабился, затих, и наступила звенящая пауза. Даже врач замер и подогнул колени. Потом Лидия Игнатъевна спохватилась, вывела аспирантку из кабинета и, приблизившись к покойному, всмотрелась в его лицо.

Врач тоже опомнился, пощупал пульс, приставил фонендоскоп к сердцу и долго выслушивал.

– Ничего не понимаю... Кажется, он жив.

– Укол! – скомандовала Лидия Игнатъевна.

– Не приказывайте тут! – внезапно рассердился доктор. – Я доктор медицинских наук и знаю, что нужно делать!

– Я не приказываю, – сразу же сдалась секретарша. – Просто приехал профессор Желтяков, которого он так ждал... И не дождался.

– Простите, – так же внезапно повинился врач. – Нервы... Наблюдаю два удара в минуту. Ни жив, ни мертв...

– Может, все&таки инъекцию?..

– Да, пожалуй... Хотя мы лишь увеличиваем муки.

После укола тело академика дрогнуло, появилось дыхание.

– Вы что, медик? – спросил доктор, сворачивая свою сумку.

– Нет, я просто очень хорошо знаю его.

Через двадцать минут академик открыл глаза и вяло огляделся.

– Опять здесь... Я запретил ставить стимуляторы.

– Но профессор Желтяков приехал, – мягко проговорила Лидия Игнатъевна. – Ждет на черной лестнице.

Он заметил пятно на простыне, оставленное выпавшей ручкой, попытался затереть чернила, но только размазал и испачкал руку.

– Оставьте, заменим! – поспешила секретарша.

– Я бы хотел... Эта барышня... аспирантка Елена... Представляете, фаталистка. Самого Фадлана... Пригласите ее ко мне.

– Но на черной лестнице стоит профессор, которого вы так ждали, – напомнила Лидия Игнатьевна. – И подъезжают остальные, кто был вызван...

– Да-да-да... – опомнился Мастер. – Разумеется... Откройте ему и впустите. Вот ключ... И все равно, прошу вас, позаботьтесь о ее судьбе...

Прежде чем наградить академика прозвищем, журналистам основательно пришлось покопаться в архивах, и по отрывочным, косвенным свидетельствам удалось лишь приоткрыть завесу таинственного прошлого. Далекого прошлого – настоящее так и оставалось непроницаемым, непрозрачным, как модно сейчас говорить. Всем было известно, что он мученик сталинских концлагерей, претерпел все вплоть до расстрела, но мало кто знал, за что его приговорили к пяти годам, да еще в пору, когда не было тотальных репрессий, – в конце двадцатых. А статья была известная, знаменитая – 58-5, под которой шли враги народа самого разного пошиба – от мужика, рассказавшего анекдот про Сталина, до членов контрреволюционных заговоров.

Статья эта все и покрыла...

Но как бы ни работала специальная мasonicкая цензура и само время, вытравливая из письменных источников и памяти современников всяческую информацию о связи будущего нобелевского лауреата с вольными каменщиками, свидетельства его принадлежности сначала к Ордену рыцарей Святого Грааля, потом к Новым Розенкрейцерам и, наконец, к Мальтийскому ордену, как космическая пыль, проникали сквозь самые плотные слои атмосферы, накапливались до такой степени, что становились видимыми. В основном пробалтывались бывшие члены лож, низкой степени посвящения, когда-то избежавшие наказания или давно отошедшие от тайных обществ и за давностью лет считавшие свои юношеские устремления своеобразной игрой, пристанищем молодого, блуждающего ума. Сейчас же, по недомыслию или старческому маразму, они полагали, что масонство – это что-то вроде современной демократической партии, куда можно вступить, а потом выйти или перебежать в другую, и что теперь никаких тайных организаций давно нет и быть не может, и потому с радостью и даже с гордостью сообщали, что знаменитый ученый уже в то время заметно выделялся среди братьев и имел степень Мастера, за что и угодил в Сиблаг.

Приятно было хоть так приобщиться к громкой славе академика...

А осужденный розенкрейцер еще в лагере, когда по пояс в снегу валил краскотом сосны в два обхвата, ощутил, как пуст и бесполезен тот мир, в котором он жил; масонство с его тайнами, клятвами, идеями переустроить мир – не что иное, как естественная паранойя, развивающаяся в бездеятельных умах интеллигенции. Исправительный лагерь – вот ложа, где под руководством гроссмейстера-начальника одновременно тысячи посвященных совершенствуют свою душу, ищут смысл жизни, бытия и высшую истину.

Тогда он искренне раскаялся и поклялся сам себе никогда не возвращаться к прошлому. А оно, прошлое, и здесь, во глубине сибирских руд, напомнило о себе, когда до конца срока оставалось меньше года. Однажды в лагерь пришел очередной этап, и на следующий же день Мастер заметил интеллигентного человека средних лет с черной ленточкой на шее, выбивавшейся из-под нательной рубахи. И этот его взгляд не ускользнул от новичка: в очередной раз, когда тот проходил мимо по темному барачному проходу между нар, приложил руку к сердцу и сделал короткий кивок. Мастер не ответил на братское приветствие, но не смог скрыть непроизвольного внутреннего толчка, и этого оказалось достаточно, чтобы быть признанным за своего.

Несколько месяцев подряд вновь прибывший вольный каменщик при встречах делал ему знаки, однако Мастер не отвечал на них, и если тот проявлял настойчивость, пытался заговорить и даже совал в руки мешочек с колотым сахаром, он молча уходил.

Будущий академик жил в бараке с кержаками и уголовниками, которых было примерно поровну и которые умудрялись сосуществовать под одной крышей без особых ссор и драк – терпели друг друга, поскольку любая искра могла привести к кровавому побоищу, а силы и невероятная страсть к воле были равны.

Кержаки попадали в лагерь в основном за то, что у них когда-то останавливались или прятались отступающие белогвардейцы. А чтоб такого больше не повторилось, их пытались выдвинуть из леса, но упрямые раскольники не хотели оставлять привычного скитнического образа жизни, выходить и жить в селах. Тогда с каждого скита брали несколько мужчин и сажали на исправление в лагерь. У Мастера в напарниках оказался один из них, и когда образованный, но инфантильный и очень уж слабый очкарик выбивался из сил и обвисал на пиле, Мартемьян Ртищев отгонял его от лучка и в одиночку укладывал огромное дерево.

– Ты посиди, паря, мне свычней, – говорил в заиндеветую бороду.

Несмотря на дюжую, лошадиную силу и невероятную выносливость – заключение, исправление трудом для них было чем-то вроде отдыха от тяжелых крестьянских работ, – молчаливые кержаки ни с того не с сего начинали еще больше смирнеть, отказывались от пищи и работы и тихо умирали в штрафных изоляторах.

– Тоска, паря, тоска, – объяснял Мартемьян. – Сердце съедает...

А чаще всего в набожных, с виду робких и степенных бородачах внезапно просыпался бунтарский дух; затосковавшие до сердечной хвори кержаки среди бела дня били охрану на делянках и срывались в безумный побег – с малыми, в два-три года, сроками. Поймать их в тайге было очень трудно, и если кого настигали – забивали прикладами и ногами, после чего зарывали под мох или в снег, если зимой. Зато каждый такой побег отмечался предупредительными расстрелами: строили заключенных в одну шеренгу, выводили каждого десятого или вовсе прямо в строю, и хорошо, если в голову или сердце, а то в живот...

Мастер досиживал последние месяцы, когда таким же образом глухой осенней ночью расстреляли Мартемьяна Ртищева, а другого напарника не дали. И начался ад кромешный: в одиночку и полноремы не сделать, значит, и полпайки не получить, а это как снежный ком: меньше ешь – еще слабее на работе. Человек переводился в разряд доходяг и сторал в две-три недели.

Он еще держался, царапался из последних сил, но не ведал судьбы: однажды при выводе в лесосеку к нему пристроился кержак и сообщил, что будет ему напарником. Этого угрюмого человека с сумасшедшими черными глазами в лагере побаивались сами кержаки, называя его почему-то заложным; его сторонились даже уголовники, поговаривая, будто за ним числятся страшные злодеяния на свободе, а сидит он так, для отвода глаз. Мастеру было все равно, лишь бы не сорваться в пропасть, над которой завис. Они благополучно и быстро спилили и раскряжевали первое дерево, а когда стали валить второе, могучий заложный кержак внезапно схватил своего легковесного напарника и как тряпку швырнул под комель падающей сосны.

Спасло его то, что мох на земле был короткий и мокрый; Мастер буквально выскользнул из-под дерева, и лишь сбитой хвоей осыпало. И немедля он ринулся в лес, где чуть не столкнулся с охранниками, закричал, мол, помогите, но его сбили с ног, стали катать пинками по земле и забили бы, но все происходило на болоте – лишь втоптали в торфяную кашу и бросили. А через час вытащили, чтобы сволочь в общую яму, но, обнаружив, что он живой, сволокли в штрафной барак.

Здесь он понял, что это смерть. Мерзкая, глупая и обидная, потому что до свободы рукой подать. Понял и увидел непоправимую судьбу свою и оставшуюся жизнь, короткую и сухую, как винтовочный выстрел.

И все-таки не ведал рока: среди ночи в барак в сопровождении охранника вошел вольный каменщик с лентой на шее.

– Встань, брат, и иди за мной, – сказал просто, как Христос, собирающий учеников.

Мастер встал и пошел.

Все основные распоряжения Желтякову были сделаны давно, еще полгода назад, когда академик отошел от третьего по счету инсульта. Его преемник все это время руководил ложей, исполняя обязанности Генерального секретаря, и оставалась последняя, завершающая и очень важная деталь: передача документов, уполномочивающих определенных членов ложи на право совершать операции со счетами в банках, а самого профессора – на право подписи. И еще, можно сказать, торжественное вручение ему символа братства розенкрейцеров – тяжелого нагрудного знака в виде золотого креста с крупными, рдеющими красным сапфирами, обрамленного лепестками роз из рубина и цепью из звеньев в форме пентаграмм. Эту драгоценную реликвию Мастер получил в пятьдесят седьмом году вместе со степенью гроссмейстера из рук своего предшественника и учителя. По легенде, передаваемой братством, она принадлежала самому графу Сен-Жермену и была привезена лично им еще в середине восемнадцатого века в качестве знака согласия и разрешения Великого Востока Франции основать ложу в Петербурге. (В то время никакая самодеятельность не допускалась.) Так или иначе, но символ розенкрейцеров действительно представлял большую художественную и ювелирную ценность, стоил огромных денег и, давно утратив ритуальное назначение, рассматривался вольными каменщиками скорее не как святыня, а как золотой запас на черный день – вместе с другими драгоценностями и тайными счетами во внутренних и зарубежных банках.

Владея знаком более сорока лет, Мастер никогда не надевал его, даже по самым торжественным случаям, ибо к концу двадцатого века масонство почти полностью освободилось от замысловатой наивной мистики и ритуальности. Братья делали конкретное дело, ложа больше напоминала ученый совет, где решались важные научные и геополитические проблемы, или совет директоров не крупного, но очень действенного и мощного предприятия. Милые исторические глупости вроде ломания над неофитом шпага или укладывания его в гроб при посвящении выглядели бы как театр абсурда.

Встреча ученика и учителя была деловой и короткой. Правда, бледный и взволнованный важностью момента Желтяков потянулся было к руке Мастера, но наткнулся на массивный сейфовый ключ. И помимо воли, зная, от чего этот ключ, потянул его на себя, однако академик не выпустил ключа из ладони.

– Вы заставили меня ждать...

– Простите, брат, я заставил вас жить, – поправил профессор. – Почти целый час.

– Да-да... Вы правы, благодарю. Но я не жил, а страдал. – Мастер вспомнил аспирантку и выпустил ключ. – Заприте дверь и откройте первый сейф.

Желтякову можно было ничего не подсказывать; он давно знал, как следует поступать в таком случае, и делал все с размеренной четкостью. Нашел защелку и осторожно отвел в сторону дубовый книжный шкаф, укрепленный на незаметных шарнирах, после чего отогнул край обоев на стыке и вставил ключ в скважину. Дверь засыпного сейфа открылась с легким гулом, будто чугунное колесо прокатилось по рельсу и стукнуло на стыке. Профессор увидел толстую пластмассовую папку на полке, однако спохватился и решил соблюсти не ритуал, а правила приличия – выжидательно обернулся к Мастеру.

– Возьмите ее, – бесцветным голосом разрешил тот. – Будьте осторожны, не выключайте... самоликвидацию.

Исполняющий обязанности Генерального секретаря представлял, зачем идет к ложу умирающего, и взял с собой вместительный кейс, куда теперь вложил заминированную папку, а потом и ключ от сейфа, но крышку не закрыл – ждал дальнейших распоряжений, искоса поглядывая на китайскую картину с иероглифами, висящую в изголовье.

В руке академика оказался второй ключ, меньше первого, с причудливыми и длинными бородками.

Желтяков снял картину, слегка расшатал и вынул дюбель из стены, им же выковырял деревянную пробку и всунул ключ.

– Четыре оборота против часовой... – подсказал Мастер, не видя, что там делает профессор. – И пол-оборота назад...

– Да, я помню...

Небольшая дверца сейфа за долгие годы была заклеена пятью слоями обоев, и потому дело застопорилось – просто так открыть оказалось невозможно.

– Возьмите в ящичке с гола... – с трудом выговорил академик. – Для бумаги...

Желтяков послушно достал нож и с треском разрезал обои по наметившемуся квадрату – освобожденная массивная дверца открылась сама. Овальный футляр из черного дерева занимал почти все пространство сейфа; несмотря на то, что более сорока лет пролежал чуть ли не замурованным, он все же покрылся довольно толстым слоем пыли.

Желтяков бережно вытянул футляр, и когда взял на руки, сказал непроизвольно:

– Тяжелый...

– Это тяжелый крест, – согласился Мастер.

– Я снимаю его с ваших плеч, брат.

– Благодарю...

– Да, на черной лестнице ждет мой специалист, – деловито проговорил Желтяков. – Вы позволите... снять гипсовую маску?

– Прямо... сейчас?

– Разумеется, нет... Потом...

– Вот и спросите потом... У покойного.

– Мой долг перед братьями... И традиция.

– Поступайте, как считаете... Я уже не властен... Скажите Лидии Игнатьевне, она распорядится...

Профессор уложил футляр в кейс и не удержался: стоя спиной к умирающему, приподнял деревянную крышку.

– У вас... будет время... – напомнил о себе академик. – У меня его... слишком мало...

– Извините, – опомнился Желтяков, торопливо закрывая кейс на кодовые замки.

– И прошу вас... Отключите грелку... И снимите ее с моих ног... Сделайте и эту милость.

Профессор исполнил просьбу, аккуратно смотал шнур, свернул сапог и зачем-то сунул его под стол.

– Ступайте, – поторопил Мастер. – И несите крест.

– Прощайте, брат. – Не выпуская кейса, Желтяков приложил руку к сердцу и кивнул головой, однако торжественность момента была нарушена тяжелой ношей в руке – хрупкую фигуру профессора перекосило, и пиджак сполз с плеча на сторону, увлекая за собой рубашку и галстук.

Таким он и удалился в дверь, которая вела из кабинета на черную лестницу.

Академик же, на короткое время оставшись в одиночестве, вытянул ноги, распрямил спину, словно и в самом деле снял с себя тяжесть, и, закрыв глаза, вновь ощутил холод, бегущий по телу от конечностей. Но теперь он оставался спокойным: все прочие, кто был приглашен к прощанию, уже ничего бы не добавили к сознанию исполненного долга. И никто из них не заставит его растрчивать последние душевные чувства. Среди ожидавших не было ни одного кровного родственника: так уж получилось, что его четверо детей умерли один за другим, не дожив до пенсионного возраста, а двое с горем пополам появившихся на свет внуков ушли вслед за родителями в результате непредсказуемых несчастных случаев. Старший уехал с подружкой на Черное море и там утонул, а младший разбился на мотоцикле. Вот уже три года академик был один на свете и сейчас утешался тем, что смертью своей не принесет горя и страдания – коли нет кровной родни, не будет и кровной скорби...

И потому оставался небольшой промежуток времени, возможно, считанные минуты, когда он мог бы почувствовать себя поистине свободным от всяческих обязательств и войти в состояние, которое испытывает, пожалуй, лишь младенец, и то до тех пор, пока не отрезали пуповину: потом уже появится первый долг и серьезное занятие – сосать материнскую грудь. Сейчас он не академик и не заключенный, не лауреат и не гроссмейстер, не отец, муж, брат или дед. И даже состояние измученного болезнью тела не волновало, и холод конечностей, пробиравшийся к сердцу, был естественным и не имел значения.

Он был никто...

А значит, свершилось то, к чему он стремился всю жизнь, – абсолютная свобода духа, равная божественной.

Мастер прислушался к себе и, кажется, вместе со смертным параличом рук и ног ощутил облегчение в той своей сущности, за которой скрывалось ничем не защищенное, голое, как тельце новорожденного, «Я». Или ментальное тело, как это называлось в пору увлечения будущего академика мистикой и эзотерикой. Оно еще находилось в нем, как во вместилище, однако изгоняемое предродовыми схватками холода, отрывалось от плоти и сосредоточивалось где-то в области гортани, чтобы потом выйти одним толчком, как выдох.

Пожалуй, и дождался бы этого мгновения, однако незримая сила извне вдруг закрыла уста, отрезала путь, словно упавшее на пути дерево. Академик приподнял веки и увидел перед лицом руки, держащие зеркало, а потом, сквозь муть запотевшего стекла, – свой облик, серую, безжизненную маску.

– Рано... – низко, будто сейфовая дверь, скрипнул он. – Увидите... без зеркала.

Лидия Игнатьевна облегченно вздохнула и опустила в кресло, а стоящий в изголовье врач тотчас же оказался перед глазами и, испуганный, что-то пристально рассматривал, одновременно водя фонендоскопом по груди. И причиной его непрофессионального страха было не то, что он глядел на больного, на умирающего высокопоставленного пациента или просто на труп; вероятно, он видел перед собой некую субстанцию, называемую одним словом – никто.

– Уйдите. – Академик шевельнул рукой, намереваясь отмахнуться, и, на удивление, рука повиновалась.

Врач стер пот со лба и вроде бы даже облегченно улыбнулся, словно поставил наконец верный диагноз и сейчас поднимет больного на ноги.

– Предсмертное облегчение, – произнес на латыни, а остальное по-русски: – Да, несомненно... Радужка глаз, зрачок...

– Ступайте отсюда, – жестко сказала ему Лидия Игнатьевна. – Я позову...

Только сейчас Мастер заметил у дверей своего научного преемника Копысова. Полгода назад, когда здоровье ухудшилось и приезжать на работу стало трудно даже раз в неделю, он не раздумывая вручил профессору руководство Центром исследований древнерусской истории и культуры, более известным как ЦИДИК. Правда, назначил пока лишь исполняющим обязанности, но всем было ясно, что Копысов после смерти мэтра займет место директора. Академик был спокоен за свое детище, созданное еще в послевоенные годы и теперь превратившееся в полузакрытый и авторитетный научно-исследовательский институт, все указы и распоряжения были даны Копысову заранее, и потому его не вносили в список допущенных к постели умирающего.

– Простите, но у профессора важное сообщение, – доложила и одновременно повинулась Лидия Игнатьевна. – Я не могла не впустить...

А Мастер вдруг заподозрил измену: должно быть, ей хотелось поработать еще, теперь под началом нового шефа, хотя вечная хранительница академика получала хорошую пенсию, чуть ли не официально считалась биографом и уже писала книгу воспоминаний. Однако это земное и теперь бессмысленное чувство лишь коснулось сознания и отлетело прочь. Ему уже не хотелось возвращаться назад, выслушивать какие-то срочные сообщения, делать заключения

и решать вопросы уходящей жизни, ибо все это мешало начавшемуся высвобождению духа, отвлекало от самого важного.

Представительный, седовласый Копысов приблизился к постели на прямых ногах, коснулся руки мэтра.

– Ради бога извините... Я бы не посмел в такой час... Но дело не терпит отлагательств.

Мастер никогда не позволял себе сказать другому человеку «ты», не допускал грубой или даже простонародной речи, и эти привычки стали его сутью. Но тут он словно потерял контроль над собой и выпустил на волю то, что подспудно таилось в нем всю жизнь.

– Ну что тебе?.. Какого рожна...

Профессор не обратил на это внимания.

– Поступила информация... Министерство подготовило своего человека, есть приказ о назначении. Но пока держат... И сразу же после вашей... Это катастрофа.

– Дай мне... умереть, – попросил Мастер.

– Но ЦИДИК окажется в руках проходимцев и националистов! Они посмели пренебречь вашим мнением!

Когда он сам учил Копысова настойчивости, воспитывал упорство и смелость в любом деле идти до конца. Тот был хорошим последователем, и отвязаться от него не было никакой возможности.

– От меня что?..

– Приказ! Задним числом! О назначении!..

– Назначает министерство...

– Они не посмеют отменить! Или признать недействительным. В обществе уже готовятся!.. Прощание с телом, траур...

– Проект приказа есть, – подхватила Лидия Игнатьевна, чтобы остановить профессора, потерявшего чувство меры. – Вам только подписать и поставить дату своей рукой.

На подставке перед ним оказался печатный текст на бланке ЦИДИКа и в пальцах – авто-ручка. Академик расписался – получилось совсем не плохо – и тотчас решил одним взмахом покончить с земными делами.

– Пригласите... кто ждет, – попросил он секретаршу. – Сразу всех...

– Но ваши близкие надеются на приватную... встречу, – слабо воспротивилась Лидия Игнатьевна, подбирая уместные слова. – Меня предупредили...

– В таком случае... Прогоните всех. Я умираю... Не мучайте меня...

– Хорошо. – Она метнулась к двери.

– На одну минуту... – выдохнул вслед академик.

Несмелая, скорбная толпа из девяти человек влилась в кабинет и, будто на сцене перед награждением, выстроилась полукругом возле смертного одра в молчаливой неподвижности. Разве что сморщенная горбатенькая старушка, спрятавшись за спины, тихонько плакала в черный носовой платок. Это были действительно близкие, среди них не оказалось ни одного официального лица или чиновника; по воле умирающего Лидия Игнатьевна известила совсем неожиданных, а то и вовсе не знакомых ей разновозрастных людей.

Мастер чуть развернул голову и сонным, малоподвижным взглядом окинул присутствующих: земная память еще тлела фитильком угасшей свечи.

...бас из Большого театра Арсений Булыга, в дружбе с которым были прожиты трудные послевоенные годы, сам уже старый, вот и плечи опустились, и грудь впала – какой уж там Иван Грозный!..

...друг младшего внука: они тогда вместе ехали на мотоцикле – и царапины не получил, хотя пролетел по воздуху шестнадцать метров и укатился под откос. Однако после катастрофы потерял дар речи и вот уже три года молчит, пишет удивительные по мироощущению стихи, но показывает только дедушке-академику...

...бывший оперуполномоченный МГБ, прятавший доносы стукачей и тем не раз спасавший Мастера от арестов...

...сотрудница отдела редких книг и рукописей из Ленинки, позволявшая выносить за пределы библиотеки любой раритет: и тогда&то была в возрасте, а и сейчас еще крепенькая, с живыми печальными глазами. «Вы – гений! – говорила она, когда будущий академик издал всего несколько первых работ. – Поверьте мне, у вас большое будущее»...

...известный филолог и критик Сарновский, еще молодым человеком помогавший создавать ЦИДИК, но в расцвете славы ставший невозвращенцем. Приехал в Россию несколько лет назад и оказался никому не нужным. Теперь заместитель директора ЦИДИКа...

...и университетская однокашница Валя Сорокина еще жива, стоит за спинами и плачет. Приютила, когда Мастер вернулся из лагерей, пораженный в правах, с запретом преподавать в вузах, целый год поила и кормила, чуть не развелась с мужем из&за него...

...аспирант Евгений Миронер, любимый и последний ученик, светлая, умная голова – только бы не ушел в бизнес или не уехал из страны...

...преподаватель философии Кораблев – постоянный оппонент и возмутитель нравов в ЦИДИКе, та самая щука, чтоб карась не дремал...

...и последней, у ног, от скромности и природной застенчивости, пристроилась Ангелина, вдова старшего сына, все последние годы ухаживавшая за старым и немощным свекром. Как только Лидия Игнатьевна появилась в доме —&ведь ушла, чтоб не мешать, не мозолить глаза большим людям...

– Подойдите ко мне, – попросил академик, подавая Ангелине руку.

Она не могла пройти между людьми и кроватью – чтобы не заслонять, – обошла кругом, приблизилась к изголовью:

– Я здесь, папа...

Он сам взял ее сухонькую ручку, но подержал и выпустил:

– Прощайте... Не забывайте меня.

Ангелина не заплакала – не хотела мешать своими слезами, только поклонилась и пошла в двери. Остальные же все еще стояли и смотрели, как Мастер начинает подрагивать, а костистые, синеющие пальцы его и вовсе выбивают неслышную дробь. Наконец умирающий махнул рукой:

– Ступайте... Мир вам...

После прощания с близкими он попросил сиделку выйти. Та все поняла, поцеловала в лоб и ушла, скрывая слезы. А он унял вдруг пробежавшую легкую дрожь в конечностях, однако не избавился от разливающегося по телу смертного озноба. Теперь холод бежал не от рук и ног, а зарождался под гортанью – там, где собрался, сосредоточился его дух. Перестав этому сопротивляться, он несколько минут прислушивался к плеску ледяных волн, пока не обнаружил, что их такт сопрягается с биением сердца и от каждого толчка остывшая кровь сильнее студит тело, изношенное, проржавевшее, как консервная банка.

Потом он потерял счет времени, а вернее, считал его другим образом – насколько становился неподвижным и бесчувственным. Но от всего этого разум высветлялся настолько, что, казалось, в голове, где&то в теменной части, уже горит иссиня-белая лампа. И с усилением ее накала, с ритмом холодеющего сердца наваливался необъяснимый, безотчетный страх.

– Почему? – будто бы спросил Мастер, ощущая, как дух его, уже взбугрившийся у основания горла, внезапно утратил свою пузырчатую шипучую легкость, содрогнулся и начал каменеть, словно раскаленная лава в жерле вулкана, так и не выплеснувшаяся наружу.

Он очнулся от удушья, попытался разжать зубы, открыть рот, чтобы вздохнуть, и ощутил, как лицо – глаза, губы, нос, нижняя челюсть – все закаменело, покрытое чем&то сырым и тяжелым. Первой мыслью было: его опять мучают охранники, втоптали в землю, забили сапо-

гами голову в болотную грязь и бросили умирать. И это осознание насилия заставило Мастера сопротивляться; он не в силах был поднять голову, но дотянулся рукой и стал отковыривать, сгребать вязкую, сохнувшую массу. Наугад, скрюченными пальцами он зацепил твердую кромку возле уха и одним движением сорвал с лица облепляющую тяжесть, как коросту.

Перед глазами возникло чужое расплывчатое лицо, и тотчас раздался панический картавый голос:

– Он жив! Доктор! Вы сказали: он уже мертв, – а он еще жив! Он сорвал гипсовую маску!

Мастер сморгнул белесую пелену – рядом с незнакомцем появилась Лидия Игнатьевна.

– Господи...

– Пить, – попросил он. – Воды...

Перепуганная сиделка сдернула с его головы бинт, которым была подвязана челюсть, приложила к губам край стакана, но руки ее тряслись, вода разливалась.

Тогда он приподнялся, высвободил вторую руку, сам сделал несколько глотков, после чего растер лицо, перепачканное гипсом, и мокрую грудь.

– Горит, – пожаловался. – Больно...

В изголовье оказался еще и врач, тарачил глаза, мотал головой.

– Не может быть... Консилиум установил смерть...

– А я предупреждал! – прокартавил незнакомец. – Я же вам говорил, следует дожидаться трупного окоченения!

Быстрее всех справилась со страхом и паникой Лидия Игнатьевна, схватила полотенце, стала вытирать лицо академика.

– Уйдите отсюда! Все уйдите отсюда! Оставьте нас!

Только сейчас он обнаружил, что на улице свет – должно быть, раннее утро, ибо солнце доставало окна кабинета уже в седьмом часу. И это обстоятельство неприятно его поразило.

– Не хочу, – проговорил Мастер. – Зачем... рассвет? Неужели я...

– Да, уже утро, – уставшим и оттого почти спокойным голосом отозвалась Лидия Игнатьевна. – Как вы мучились, господа... И вроде бы все кончилось, пришел специалист снимать маску...

– Все болит, – признался он. – Почему я не умер?

– Вы умерли... В шесть утра был последний консилиум...

– Почему я... снова жив?

– Это знает лишь Всевышний...

– Мне больно...

– Сейчас позову доктора, поставит обезболивающее...

– Я запрещаю.

– Но у вас опять будут... страшные судороги... На это нельзя смотреть.

– Вы обязаны... исполнять мою волю.

Сиделка протерла влажным бинтом его лицо, заменила подушку, испачканную гипсом, поправила одеяло.

– Здесь вам будет тяжело, нет специальной аппаратуры. – Она, как всегда, подбирала слова. – В Москве открыли первый хоспис... Там есть все, чтобы облегчить... Если человек долго умирает. Я буду с вами, хоть месяц, хоть два...

– Прикажете мне... так долго мучиться?

– Врачи говорят, бывают и такие случаи. А в хосписе... специальное оборудование, медики. Я сейчас позвоню, и придет машина.

– Нет... Не смейте...

Лидия Игнатьевна вдруг опустилась в кресло и с женским участливым отчаянием воскликнула:

– Но еще одну ночь я не выдержу!

Это ее состояние тоже было знакомо: за сорок лет ее верной службы она несколько раз неожиданно бунтовала и делала попытки уйти, уехать, но всякий раз возвращалась, ибо жизнь ее становилась бессмысленной...

Умиравший дотянулся и тронул ее сжатый кулачок.

– Да-да, понимаю... простите... И оставьте меня одного...

– Я не могу...

– Это последнее утро... Обещаю вам... Хочется... рядом самого близкого человека...

У академика повлажнели глаза, но слез так и не накопилось – между век выступило нечто вроде белесого от гипса пота. Лидия Игнатьевна заметила это, будто очнулась.

– Ой, да что я говорю, боже мой! Конечно же, выдержу! Это слабость... Я буду с вами, буду! И ни в какой хоспис!..

– Ступайте... Отдохните и возвращайтесь.

– Нет, я на шаг не отойду!

– Прошу вас... Хочу побыть один.

– Как же я брошу?..

– Пожалуйста... И если умру, не снимайте маску.

С оглядкой, качаясь и запинаясь, она удалилась, но оставила дверь приоткрытой. Мастер наконец&то успокоился, опустил веки и стал ждать блаженного состояния полной свободы. Однако не прошло и получаса, как вновь ощутил подрагивание рук и, зная, что за этим последует, напрягся, стиснул зубы, но не смог сдержать пульсирующей ледяной крови. Вскипевшая под гортанью огненная лава потекла навстречу холодным потокам, ища выход, стучала в ноги, в голову, взламывала горло, а не пробившись, растеклась по телу, испепеляя плоть...

В молодости ему казалось, будто он знает о смерти почти все. Орден рыцарей Святого Грааля, как и все полусамодельные ложи того времени, традиционно и основательно занимался оккультизмом, искренне полагая, что знание сверхъестественного – того, что составляет вечную загадку бытия, – это путь к самосовершенствованию, достижению особых личностных качеств. Разумеется, понятие смерти как неотъемлемой составляющей жизни привлекало особое внимание, и желание проникнуть в ее таинство было настолько велико, что Мастер когда&то лично проводил опыты с мертвыми телами и несколько раз специально присутствовал при кончине людей. Эти исследования привели к тому, что он утратил последние, косвенные остатки веры, заложенные нормальной христианской семьей, – веры в Бога как в доброе начало всего сущего. То, что люди называли Всевышним и чему посылали молитвы, было всего лишь их мечтой, а миром изначально правило Зло, крылатое, многоликое, блестящее изощренным умом.

Вскоре он попал в Сиблаг, где получил прямое тому подтверждение.

Но спустя несколько лет, когда лагерная жизнь стала напоминать дурной сон, как&то незаметно отошел от прежних убеждений, и вообще все наладилось, встало на свои места – в конце концов, не мог же он говорить своим детям, кто правит миром!

И все&таки аналитический склад ума, разум исследователя не давал покоя, и вот теперь предстояло установить истину, ибо через всю жизнь он пронес веру в то, что смерть – это и есть момент откровения.

А оно, это откровение, казалось невыносимым. В муках он дождался вечера воскресенья, окончательно измотал сиделку, которая уже не жаловалась, а с терпеливым, тупым упрямством продолжала исполнять свой страстный труд. И порою, видимо, уходила куда&то, поскольку однажды академик пришел в себя оттого, что чьи&то сильные руки встряхивали его искореженную судорогами плоть. И голос был:

– Встань! Встань! Подними голову и открой глаза!

Он повиновался и увидел перед собой Палеологова. Только вроде бы другого, без комсомольского огня в глазах, – с челкой на левую сторону и белыми, рекламными зубами.

– Надеюсь, ты помнишь меня? Или успел забыть?

– Почему вы... так разговариваете? Я никому не позволяю...

– Потому что ты – труп! Пока еще живой труп! И давай отставим в сторону пороки, которые называются интеллигентностью... На смертном одре не до красотостей, скоро перед Богом предстанешь. А он с тебя спросит не как я. Спросит за все. Ты готов держать ответ?

– Уйдите... Я вас не знаю...

– Знаешь! – Палеологов бросил его на постель и оглянулся. – Мало времени. Поэтому нужно отвечать быстро. У тебя на рецензии была диссертация, докторская. А в приложении к ней – фактические материалы, карты, схемы... Фотокопии! Пачка фотокопий! Вспомнил?

– Через мои руки прошло очень много...

– Много! Ты по личному указанию Сталина создал ЦИДИК, который оказался нужным всем властям и режимам. Непотопляемый ЦИДИК, чтобы контролировать все научные работы по истории и филологии. Но больше всего он был нужен тебе! Ты рецензировал труды ученых и передирал свежие мысли! Все твои статьи и книги – сплошная компиляция! Ты, как насекомое, сидел на чужом теле ипил кровь! Что, неприятно слышать правду? А ты послушай, тебе никто ее не скажет. Но правда за правду: фамилия ученого, чей труд чуть в гроб тебя не уложил?.. Тебе придется поднапрячь память. Ну? Диссертация, из которой ты ничего не смог высосать? Потому что подавился бы! Вспомни, отчего у тебя случился первый инсульт!

– Не хочу, – проговорил академик и махнул рукой на Палеологова как на наваждение. – Бред, галлюцинации... Вы продукт моего разума...

– Я твой судья! И нужно отвечать как под присягой!

– Судья?.. А почему бы и нет? Кто его видел?.. Образ обманчив... Говоришь, как Судья...

– Наконец-то начинаешь соображать!

– Скажите... Чья диссертация?

– Это ты мне скажешь – чья! Кто первым стал рассматривать Соляную Тропу как тайное государственное образование старообрядчества? Кто увидел существование параллельного мира в России?.. Тебе не каждый день и не каждый год присылали такие материалы! Должен запомнить! Иначе бы тебя не хватил кондрашка!

– Я не стану отвечать... – Даже в предсмертном состоянии, после мучительных судорог он ощутил позыв воспротивиться насилию. – Это бессмысленно...

– Слушай, ты, совесть нации! – зарычал незванный посетитель. – Тебе придется отвечать. Иначе общественности станет известно, как ты выжил в лагере.

Академик привстал на локтях, оторвал голову от подушки.

– Кто вы?.. Кто?.. Не может быть!

– Я тот, кому надо говорить правду! Настал час истины!

– Неужели мне нигде не будет...

– Покоя не будет! – неумолимо и жестко оборвал Палеологов. – Ни здесь, ни на том свете! И ты это отлично знаешь. Так и будешь корчиться! И смерти тебе не будет!

Мастера передернуло от последней фразы, и на какой-то миг почудилось, что все это происходит в его собственном сознании – вершится некий суд! Однако Палеологов тотчас же приземлил его, зло смахнул челку со лба и резко сменил тон:

– Ладно, попробуем договориться так. Автор диссертации – твой враг, верно? Он покусился на то, что ты тщательно скрывал, что контролировал всю жизнь, дабы утвердить определенное воззрение на русскую историю. Какой смысл защищать своего противника? Тем более перед кончиной, в момент откровения!

– Не понимаю вас...

– Ты понимаешь! Да только не хочешь в этом признаться. Я прочитал все твои работы, даже самые первые. И везде ты так или иначе подчеркивал одну и ту же мысль – России всего одна тысяча лет. Дохристианской русской истории не существовало, дикая, неосознанная

жизнь, без времени и пространства, без веры, мировоззрений и какой-либо централизации. Ты прикасался ко всему, что так или иначе могло пролить свет на истину, выносил свое авторитетное заключение, как черную метку. Только поэтому ты написал монографию по древнерусской истории, мазал дегтем апокрифическую литературу, Влесову книгу и все исследования по ней. Я понимаю, ты вершил свой суд не по собственной воле. Не впрямую, так исподволь проповедовал то, что тебе поручали.

- Мне никто не навязывал мнений, – бессильно запротестовал Мастер.
- На смертном одре не надо лгать, господин Барвин! Господь все слышит.
- Кто мог мне что-то диктовать? О чем вы говорите?
- Сначала новые Розенкрейцеры, потом мастера Мальтийского ордена...
- Забавы тоскующей интеллигенции...

– Этим забавляй журналистов, – ухмыльнулся Палеологов. – Неужели ты считаешь, что никто не догадывается об истинном предназначении ЦИДИКа? Другое дело – говорить не принято... Но вернемся к нашим баранам. Как ученый ты же понимал: бесконечно сдерживать процесс познания собственной истории невозможно, даже если этого пожелает сам Великий Архитектор. Все равно время от времени будут появляться люди, сомневающиеся в твоих концепциях. А главное – вновь открытые или хорошо забытые исторические источники, археологические памятники и прочие материальные свидетельства. Например, этот чудака с диссертацией взял и раскопал на Соляной Тропе полторы сотни не известных науке великокняжеских и царских жалованных грамот, да еще почти прямо указал, куда ушла библиотека Ивана Грозного.

Академик лежал неподвижно, с открытыми глазами, лишь пальцы подрагивали, вяло сцепленные на груди. Палеологов несколько сбавил напор, склонился к его лицу:

– Мне известно: ты кодируешь диссертации, снимаешь фамилии, дабы избежать всякой предвзятости рецензентов. Эта была под номером 2219. Ты рецензировал ее сам и знаешь имя диссертанта.

– Кодировал не я... Это работа секретаря. И я не знаю...

– Ну хватит выкручиваться, Мастер! Вся эта кодировка – на посторонних дураков. В любой момент ты мог узнать фамилию! Назови этого человека!

– Я не помню, – искренне признался умирающий. – Вероятно, было давно и вылетело из головы...

– Напряги память, академик! Ты должен был запомнить его на всю жизнь! У тебя тогда случился первый инсульт! Он же тебя чуть на тот свет не отправил своими трудами!

– Поймите...

Дверь резко распахнулась, ворвались сразу трое – врач, Лидия Игнатьевна и аспирантка Лена, и все сразу бросились к Палеологову, однако тот не оказал сопротивления, поднял руки и пошел к выходу.

– Надо подумать, Мастер! И вспомнить. Время будет, – уже из-за порога проговорил он и захлопнул дверь.

Привставший на локтях академик подрубленно обвалился на подушку и мгновенно покрылся испариной.

– Прогоните... – глухо проскрипел он и тотчас же выгнулся, будто сгоревшая лучина...

...Выплыв из глубин ада, он на сей раз не обнаружил гипсовой маски на лице, но был привязан простынями, распят на кровати. Сбоку, на журнальном столике горели две свечи по сторонам большой иконы, и перед ней – раскрытый старенький трескун.

Лидия Игнатьевна, неумело распевая слова, читала отходную. Она замолчала, когда академик шевельнулся и открыл глаза, обернулась с боязливым ожиданием.

– Я жив... – опередил он. – Человек этот, судья... ушел?

Вдохновенная сиделка встала на колени перед кроватью, распутала узлы и высвободила руки.

– Он ушел... Выслушайте меня, пожалуйста. Я все поняла. Вы давно не исповедовались и не причащались. Поэтому и муки... Вам нужен священник!

– Слишком стар... – натужно заскрипел он. – Ненавижу лицемерие... Если нет веры... Стоять со свечой...

– Это не имеет значения! Господь видит нас, и никогда не поздно поднять на него глаза! Тем более на смертном ложе!.. Батюшка здесь, ждет! Я позову!..

– Все ложь... Никто нас не видит с небес... Там – холод.

– Но как же иначе вы освободитесь от грехов?! – взмолилась Лидия Игнатьевна.

– От грехов?.. А я – грешен? Вы верите, что на моей совести есть дурные поступки?

Она смутилась, чуть отпрянула от постели.

– Не знаю... Священник заходил сюда, когда вас корежило. Сказал, не все так, как нам кажется... И молится сейчас, чтоб взять на себя...

– Отошлите его, не нужно. – Академик привстал. – Я не верю... А этот человек... Палеологов... Он ведь знает... Исследователь. Почему он ушел?

– Вы попросили, – насторожилась сиделка. – Мы выдворили его...

– Верните... Отыщите его и верните.

– Простите... Но это ужасный человек! Совершенно неинтеллигентный... Да просто садист!

– Судье нельзя иначе... когда он перечисляет грехи.

– О чем вы?..

– Да... Не все так, как нам... Я сделал много дурного. Никто не знает, как много...

– Пожалуйста, не говорите ничего, нужно отдохнуть.

– И перед тобой я грешен... помнишь?

Лидия Игнатьевна встала с колен и присела на край постели, несмело взяв его руку.

Их любовь началась сразу же, как Лидочка появилась в ЦИДИКе. И это было естественно: она смотрела на мэтра с благоговением – а вот как он заметил ее среди доброго десятка таких же молоденьких и заранее влюбленных, не знал и сам. Увидел в приемной, неожиданно для себя позвал в кабинет, битый час талдычил что&то о строгих правилах учебы, серьезном поведении в общежитии и так же внезапно удостоил особым вниманием – назначил себя руководителем. А когда они опомнились, об отношениях маститого, авторитетного ученого и какой&то аспирантки знали уже не только в парткоме, а много выше. И много ниже – в семье.

Он не посмел разрушить устои своего положения, она же, навсегда очарованная гением мэтра, не нашла в себе силы оторваться и, не защитив диссертации, навечно пошла служить ему верно и целомудренно.

Сейчас она знала, о каком грехе он сказал, и бывали моменты, когда Лидия Игнатьевна незаметно для окружающих переживала за себя, плакала от одиночества, по ушедшей молодости, но никогда не жалела о своей судьбе.

– Я была счастлива, – проговорила искренне.

– А я чувствую... И всегда чувствовал. На моей совести... Прости меня.

– Покаялись бы перед батюшкой, – вздохнула она со всхлипом. – Не сильна я в духовных делах. Сама не знаю, что грешно, а что... Лучше молиться буду за вас, как умею...

Мастер откинул голову и закрыл глаза, а сиделка испугалась, подумала: новый приступ, – и начала привязывать руки к кровати, однако он приподнял голову.

– Не распинайте меня... Я слушал голос... Потребность в покаянии... Да-да... Нет, священнику не скажу. Не верю посредникам... Лгут. И нам, и... кому служат.

– Ну зачем же вы так? Есть истинные служители, монашествующие. Батюшка... он монах. Ей-богу, как святой...

- Не встречал...
- Вы поговорите с ним и сразу увидите! Я все&таки позову! – Она с оглядкой пошла к двери. – Он примет вашу исповедь!
- Не делайте этого... Ничего не делайте против моей воли!
- Долгая служба давала себя знать: Лидия Игнатьевна обреченно вернулась назад.
- Ну как еще вам помочь?..
- Академик расслабленно вытянулся и почувствовал, что опять начинается дрожание пальцев...
- Вы – святая... Вот истинное служение... Да только ни вы, ни священник не поднимете моего греха... Ни соколу, ни кречету... суда Божьего не миновати... Позовите этого, Палеологова. Он спас меня. Он напомнил... есть на свете человек, которому можно исповедаться. Враг мой, который поверит!.. Других не встречал... Потребность исповеди... Позовите же Мартемьяна!
- Кого позвать? Я не знаю такого! – В голосе было отчаяние.
- Человека, который был здесь...
- Палеологов? Ради бога, не надо! – Лидия Игнатьевна вскочила, поднесла воду. – Успокойтесь, пожалуйста! Он плохой человек!
- Мастер двинул рукой – опрокинул стакан.
- Плохой... Но правду сказал... Не умру, пока грех с души... Я его пошлю!
- Кого пошлете? Куда?..
- Палеологов найдет и приведет ко мне Мартемьяна... Он найдет... Только не помню фамилии.
- Чьей фамилии?
- Диссертация 2219... Вы же называли его имя... В приложениях были фотокопии... Да, помню, снимки камней. Камни-храмы... Фамилия редкая, и так похож на Мартемьяна...

3

Боярышня

После первой, разведочной экспедиции в одиночку он имел весьма смутное представление о том, что нашел в глухой красноярской тайге, какой исторический пласт копнул; пока была лишь интуиция, которой на первый раз хватило, чтобы вернуться назад с вдохновением даже при нулевом результате.

Космач в то время уже был кандидатом, но работал младшим научным сотрудником на историческом факультете, ждал преподавательского места, зимой вел лабораторные на первом курсе, иногда подменял заболевших коллег, а на самом деле собирал фактический материал для докторской своего шефа – завкафедрой Василия Васильевича Даниленко, и о своей тогда и мечтать не мог. Это Космача вполне устраивало, ибо с мая по октябрь он отправлялся в экспедиции по заданию начальника, за государственный счет, но получалось – работал в свое удовольствие, ибо ему нравились путешествия, скитания по лесам, а будучи крестьянских кровей, он довольно легко вписался в старообрядческую среду и скоро почувствовал, что начинается некая отдача.

Космачу бы к кержакам сроду не попасть, если бы Данила, как звали шефа студенты, не писал диссертацию по истории никонианского раскола. Тема эта к тому времени уже была перепахана не десяток раз, причем историками с мировыми именами, и требовался совершенно свежий, оригинальный материал. А его&то как раз не хватало, и придуманная Данилой очередная концепция или рассыпалась сама, или кто&то очень умело разваливал, чем бы ее ни наполняли и какими бы обручами ни стягивали.

Однако Василий Васильевич не сдавался, генерировал новые идеи, добывал деньги, необходимые документы и весной опять засылал Космача в семнадцатый век.

Сам он был насквозь кабинетный, болезненный да еще заикался, отчего свои лекции писал как ритмическую прозу и почти пел на занятиях. Студенты посмеивались над ним, передразнивали, однако уважали, как уважают всех веселых и азартных неудачников, к каковым Данила и относился. Почему&то у него были постоянные конфликты с Москвой, а точнее, с ЦИДИКом – был там такой центр, где выдавали специальные разрешения и деньги на проведение исследовательских работ в старообрядческих скитах, а потом требовали подробные отчеты об экспедициях. Космач был исполнителем, практиком и до поры до времени особенно не соприкасался с таинствами этой кухни, замечал только, что Василий Васильевич отсылает в Москву липовые отчеты, конструируя из экспедиционных материалов некую полуправду.

– Н-не достанется моя л-люлька проклятым л-ляхам! – мстительно повторял он. – Или я н-не запорожец!

Он на самом деле постоянно курил трубку и возводил это в культ, таская в карманах множество причиндалов к такому занятию – несколько трубок, разные табаки и набор для чистки, отчего давно и навечно пропитался соответствующим запахом. Если он проходил по коридору или читал лекцию в аудитории, чувствовалось и через несколько часов.

Мысль основательно проработать таинственный толк странников-неписых принадлежала Даниленко. Он, вряд ли когда видевший кержаков живьем, как опытный резидент всегда очень точно ставил задачу своему разведчику; возможно, поэтому Космачу удалось сблизиться с неписухами настолько, что ему показали дорогу сначала в Аргабач, своеобразную базу странников, разбегавшихся оттуда по всей стране и даже в Румынию и Болгарию без каких-либо документов.

Лишь потом намекнули о Полурадах, мол, есть и оседлые странники, но живут далеко и про них мало что известно.

И вот когда Космач вернулся поистине из семнадцатого века, Данила от одного беглого рассказа так взволновался, что четверть часа не мог слова вымолвить. Потом съел таблетку, выпил капель, закурил трубку и стал заикаться еще больше.

– И-й-есть попадание. Н-н-на будущий год с т-т&тобой пойду. Й-я этот ЦИДИК н-наизнанку выверну!

Как позже выяснилось, Данила посвящал своего МНСа не во все тонкости, объяснить этот его порыв можно было лишь некоей мезтью провинциального ученого столичной научной знати.

– Вам со мной нельзя, – заявил Космач. – Можно испортить все дело.

– П-почему?

От прямого ответа пришлось уклониться:

– Чтoб ходить по тайге, нужно хорошее здоровье. Это в первую очередь.

– Й-я вспомнил. З-заикастых и больных в скитах не признают. Т-ты это хотел сказать?

– Не то чтобы не признают, но считают блаженными. И отношение будет соответствующее.

– Скажешь, я т-твоей глухонемой б-брат! – Он был готов на все.

– Придется бросить курить.

– Д-да т-т-ты ч-чокнулся! Н-невозможно! Л-лучше не пойду!

После того в течение зимы Космач еще трижды, устно, письменно и уже досконально, излагал все детали экспедиции: от кого к кому шел, о чем говорили и как кто живет в Полурадах, как выглядят, как смотрят, что едят-пьют и какую одежду носят.

Только о Вавиле молчал, ибо ее существование на свете к науке отношения не имело.

Выслушав его, Данила всякий раз снова вдохновлялся на поход:

– П-поведешь меня с собой. Как тень ходить б-буду. К-курить брошу! Д-диктофон возьму, ф-фотоаппарат шпионский. Н-надо все писать и снимать. Иначе н-никакого толку!

Старообрядцы и особенно странники боялись как огня и не выносили никаких бумаг, записей и фотосъемки, при малейшем подозрении могли выставить вон из скита и, самое страшное, – пустить весть по Соляной Тропе, чтоб не принимали анчихристовых слуг. И тогда путь закрывается навечно. Космачу все это было известно, и потому он пытался отговорить шефа от подобных затей, однако тот стоял намертво.

– Н-нет смысла иначе, нужен ф-фактический материал, пленки, снимки.

– Опасно это, – отговаривал Космач. – Лучше все запоминать. Я так натренировал память – ни диктофон, ни фотоаппарат не нужны. Ложусь спать и забиваю в сознание все, что было за день. Потом повторяю, что произошло вчера, позавчера... И так каждый день.

– Й-й-я что, т-твою память к диссертации приложу?.. Т&только вещественные доказательства, к-как на суде. Ин-наче хрен и к защите д-допустят, с-сволочи.

Должно быть, он отлично знал, за какую еще совсем не известную Космачу тему тот взялся и в каком виде ее надо подавать. Он вообще как рыба в воде плавал в научной исторической среде, и слова его не раз потом вспоминались. Особенно – о могущественном и таинственном ЦИДИКе, который Данила обожал и тихо ненавидел. Он не мог предполагать только того, что накануне выезда в экспедицию попадет в клинику с затемнением в легких – болезнью, которой вроде бы никогда не страдал и все время лечился от язвы желудка. Все&таки вечно торчащая в зубах трубка сделала свое дело.

Вместо себя Данила приставил к Космачу свою аспирантку Наталью Сергеевну, женщину лет двадцати шести, с гладенькой прической, в очках и с бледным, кабинетным лицом. Особа эта сразу не понравилась, а своей готовностью служить шефу в любой роли вызвала раздражение.

– Б-будешь говорить: жена, – наставлял шеф. – Она п-покорно станет ходить за т&тобой, молчать, записывать и снимать.

– Может, я сам справлюсь, в одиночку? – безнадежно предложил Космач в присутствии аспирантки.

– Н-н-не справишься, – был категоричный ответ. – З-забирай девицу и топай.

Когда они, уже вместе, пришли к нему в больницу накануне выезда, Данила, далее своего кабинета носа не высовывавший, вдруг без единой запинки прочитал целую лекцию, впоследствии оказавшуюся весьма полезной:

– Мы неправильно строили отношения. Я все понял. И ты запомни: никогда не старайся сделаться своим для староверов. Не ломи с ними, как конь, не выслуживайся своим горбом, не сокращай дистанции. Ты – ученый муж! Как только они почувствуют, что ты такой же, как они, – доступ к информации получишь лет через сорок, и то если сильно постараться. Они не такие простые, как кажется на первый взгляд, и не такие уж наивные, какими им хочется выглядеть. Пока ты ученый, пока ты в их сознании принадлежишь к некоей высшей породе людей, пока ты живешь, чтобы искать истину, ты им интересен.

Летели самолетом до Красноярска, оттуда на теплоходе по Енисею до пристани Ворогово, затем на попутках до Воротилово – последнего населенного пункта, дальше лишь старые лесовозные дороги, эдак километров на полста, а еще глубже – тайга нехоженная, болота и урманы. Коней на лесоучастке взяли по договору, оставив залог в две тысячи рублей, но зато на выбор – двух кобыл под седла и молодого мерина завьючили грузом, которого было порядочно: в двух рюкзаках везли продукты, нехитрые подарки для женщин, патроны и ружейные запчасти для мужчин, резиновую лодку, спальные мешки, палатку, да еще пришлось купить мешок овса.

Было начало июня, только что схлынуло половодье, погода стояла теплая и солнечная, гнус особенно не донимал, но теплые лывы, оставшиеся от разливов, чернели комариной личинкой – через недельку дышать станет нечем, а ходу до Полурад что пешему, что конному – двенадцать суток.

Поначалу Космач присматривался к своей ассистентке, не оберегал от работы – даже коней научил треножить, инструктировал, поучал – все выносила: и день в седле, когда, спустившись на землю, не можешь встать на ноги, и кухарство на костре, и ночевки на болоте. За неделю конного хода они немного сблизились, по крайней мере не стало официальных отношений и предвзятости, которая одолевала Космача. Единственное, что ему не нравилось, – ее роль жены.

– Давай так: ты мне – сестра, – предложил он однажды. – Это будет лучше и убедительнее.

– А мне кажется, жена лучше, – засмеялась Наталья Сергеевна. – Это солидно.

– Подумай хорошо, нам придется спать в одной постели. Это тебя не смущает?

– Напротив, это меня возбуждает. – Она сняла очки и вместе с ними – образ учительницы женской гимназии. – Свершится то, что бывает только в грезах одинокой женщины. Просыпаться и чувствуешь; рядом спящий мужчина... Чужое, незнакомое тело, от которого исходит тепло, обволакивающее мужское дыхание... Ночь и полная темнота, случайные прикосновения рукой, обнаженным бедром и – запрет! Табу! Ничего нельзя! А запретный плод так сладок...

– Ты что, сексуальная маньячка? – в сторону спросил Космач.

– Нет, я одинокая женщина.

– Так вот, легенда по поводу супружества отменяется. Мы брат и сестра.

Вся эта родственность была обязательной, ибо по нравам и законам староверов чужие люди не могли странствовать вместе. Это вызвало бы настороженность, разрушило едва установленный контакт с оседлыми неписахами. Если есть доверие к тебе, то оно автоматически распространяется на жену, сестру, брата, сына, но ни в коем случае не на чужого, пусть даже самого близкого по духу человека, которого ты привел с собой. Из-за незнания подобных щепетильных тонкостей была загублена не одна экспедиция, кержаки закрывались наглухо и своим подчеркнuto равнодушным отношением или в открытую выгоняли гостей из скитов, не объясняя причины, и еще весть пускали по Соляной Тропе, чтоб не принимали этих ученых

странников. Данила, кабинетный аналитик, не мог найти твердого и определенного объяснения такому явлению, хотя высказывал предположение, что это продиктовано сохранившейся у старообрядцев родовой психологией семнадцатого века: доверять можно только кровной родне или супругу.

Наталья Сергеевна не спорила, однако и особой покорности не проявляла.

– Если это нужно для дела, я готова быть и сестрой. «Миленький ты мой, возьми меня с собой...» – пропела она. – Но не забывайте, Юрий Николаевич, нас с вами повенчал сам Василий Васильевич, а мы его рабы и работаем на него.

Аргумент был веский, неоспоримый и прозвучал обидно. Космач лишь поежился и ничего больше не сказал.

И пока он раздумывал, кем лучше представить ассистентку, к выбору легенды подтолкнул случай. После переправы через холодный, ключевой Сым Космач пустил коней на дневную кормежку, сам же лег на песке, обсыхал и грелся на солнышке, поскольку плыл вместе с лошадьми. Наталья Сергеевна переезжала реку на резиновой лодке, вместе с вещами и седлами, и потому решила искупаться в теплом заливчике, а заодно затеяла постирушку, пользуясь тем, что на жарком и ветреном берегу нет гнуса и сохнет все быстро. Она уже давно не стеснялась Космача, походные условия, в которых оказалась привыкшая ухаживать за собой женщина, диктовали свои правила, а может, умышленно поддразнивала его – в любом случае, дорвавшись до воды, она раздевалась донага, хватала шампунь, мыло с мочалкой и устраивала баню. Так было и на этот раз. После мытья и стирки она развешивала на кустах белье, когда Космач увидел на берегу человека – короткого бородача средних лет, стыдливо отвернувшегося в сторону. Дерюжная лапотинка, валяная шапка, несмотря на жару, бродни из сыромятной лосиной кожи и старенькое ружьишко на плече – странник, и сомнений нет.

– Христос воскрес, люди добрые! – весело поздоровался и поклонился, когда Наталья Сергеевна, схвативши платье, спряталась в ивняке. – Простите уж, что не ко времени явился... Да ведь дело житейское, дорожное...

Космач тоже раскланялся, натянул брюки: вынесло же его в такой час! И ведь наверняка давно стоял затаившись, подсматривал, прежде чем выйти...

Мужичок помялся.

– Лошадки&то твои кормятся?

– Мои...

– Кобылки добрые, особенно гнедая... Ты не ученый ли? А то слух был, идет нынче не один – с женой...

Вести по Соляной Тропе разносились молниеносно и необъяснимо с точки зрения здравого рассудка.

– Ученый...

– Вот и я смотрю... А меринок у тебя прихрамывает, должно, стрелку намаял.

– Да есть маленько...

– На ночь в глину поставь, так отойдет.

Космач достал из выюка пачку винтовочных патронов, но отсчитал всего пять, подал встречному.

– Помолись за путников, божий человек.

У того глаза блеснули радостно: хоть и бродил с дробовиком, но винтовку наверняка имел. И если даже нет, то патроны эти были своеобразной валютой, за обойму давали соболя, пуд ржаной муки или фунт соли

– Благодарствую, – ответил сдержанно. – И помолюсь. А зовут меня Клавдий Сорока. Слышал?

– Конечно, слышал!

На Соляной Тропе его знали все, а известен Клавдий был тем, что ходил выручать попавшихся в каталажку странников. Если кого-то из беспаспортных кержаков задерживала милиция, он приходил в тот поселок, сдавался сам и, когда оказывался за решеткой, невероятным путем выводил оттуда своего единоверца и сам убегал. Он давно был объявлен во всесоюзный розыск, и Космач не раз видел его портреты на пристанях и вокзалах, однако Клавдий не унимался и преспокойно ходил в мир.

– Ну так прощай, ученый муж! – застрекотал Сорока. – Авось еще свидимся! Коли помолиться нужда, так здесь близко камень намоленный есть, Филаретов называется. Больно уж радостно бывает на нем. Ангела тебе в дорогу!

Как только встречный скрылся за деревьями, из кустов вышла Наталья Сергеевна, не торопясь стала одеваться. Космач ничего не сказал ей, лишь ругнулся про себя и начал скручивать подсохшую лодку. Ассистентка же с той поры перешла на «ты» и называла его мужем, со всеми прилагательными, – вживалась в роль.

Когда Космач пришел в Полурады, глава рода Аристарх уже покоился в колоде, и встречал их отец Вавилы, Ириней, встречал как родных: в зимней избе поселил, за один стол со своим семейством посадил. Это могло означать, что стал он теперь главой рода, хозяином, от которого в общем-то будет зависеть успех экспедиции. Только почему-то дивы лесной, Вавилы, не было видно. Точнее, она существовала где-то близко – то засветятся ее огромные глаза в темных сенях, то в прибрежных кустах или буйных зарослях цветущего кипрея мелькнет, как птица в ветвях, но увидеть ее близко, тем более поговорить, никак не удавалось. Пару раз Космач звал ее, чтобы подарки вручить – титановые легкие пяльцы и набор ниток мулине (Вавила любила вышивать) и еще маленький радиоприемник с запасом батарей и часики, – но юная странница исчезала. Однажды он чуть не столкнулся с ней по пути на пасеку, расставленную за деревней на старом горельнике, – несла на коромысле два деревянных ведра с сотовым медом, под ноги смотрела и не сразу заметила Космача.

– Здравствуй, Елена, – назвал истинным именем. – Что же тебя не видать нигде?

Убежать бы, да ведра тяжелые и по густому лесу с коромыслом не пройти – остановилась, вскинула голову.

– Пусти-ка, Ярий Николаевич, не стой на дороге.

– Я тебе подарок принес, пяльцы и нитки цветастые, но никак отдать не мог. Мелькнешь – и нету...

– Лето, Ярий Николаевич, женской работы много, и присесть-то некогда.

– Покажись вечером, так и отдам подарочек.

– Нет уж, не покажусь, – ответила будто бы весело. – Посторонись-ка, дай пройти.

– Ты возьми подарок у Натальи Сергеевны, – обескураженно вымолвил он. – Она отдаст...

Вавила вдруг восхитилась:

– У тебя такая красивая жена! Вечером вдоль поскотины ходила – царевна египетская, Клеопатра.

Она еще и Клеопатру знала! Однако в тот миг мысль лишь отметилась в голове и мимо пролетела, поскольку Космач неожиданно и в общем-то беспричинно разозлился.

– Наталья Сергеевна мне не жена. Мы работаем вместе, мы оба – ученые.

А она засмеялась непринужденно и погрозила пальчиком:

– Зачем так говоришь, Ярий Николаевич? Не обманывай! Коль вы на одну перинку ложитесь, знать, жена. Нехорошо от своей жены отказываться!

Доказать ей тогда было ничего невозможно.

– Ну и что же теперь, так и будешь прятаться от меня?

– Ой, да пусти!

– А угостишь медом, так пропущу.

Она тут же отломила белый, налитый язык сот и ловко вдавила его в подставленный рот, а руку, облитую жидким, незрелым медом, с какой-то отчаянной страстью вытерла о его усы и бороду как о тряпку. Он слова сказать не мог, отступил в сторону и остался с забитым, разинутым ртом.

Вавила потом обернулась, засмеялась и ушла...

Но вечером же опять не вышла к ужину...

И не было еще за столом бабушки ее, Виринеи Анкудиновны, – видно, по-прежнему не доверяла ученому мужу, ибо в его сторону даже головы не поворачивала, если мимо шла. А сын ее, отец Вавилы, напротив, проявлял к ученому повышенный интерес. Все больше расспрашивал о мирской жизни, дотошно, настойчиво, и сам бы давно разговорился, если б жена не следовала тенью. Почему-то стеснялся ее, замолкал и под любым предлогом уходил. Натасканная Данилой, а потом еще и Космачом, приедетая как следует, она почти не делала ошибок, вовремя кланялась, незаметно крестилась, правильно молчала и проявляла полную покорность во всем, кроме одного – не отставала от мужа ни на минуту, боялась пропустить что-нибудь важное и не давала побеседовать с хозяином с глазу на глаз. Возможно, этим она и вызывала подозрение у Ириней, но не исключено, что наблюдательный, битый дальними дорогами и встречными-поперечными странник, не в пример своим собратьям имеющий саркастический острый ум, сам кое-что заметил, поскольку однажды не выдержал и в присутствии жены ни с того ни с сего посоветовал:

– Своди-ка в баню супружницу. Я нынче истоплю.

– Да ведь в субботу топили, – сразу не понял издевки Космач.

– А чего она у тебя чешется-то? Как подойдет, так и скребет под мышками.

Это она включала диктофон. Техника была хоть и импортная, но не приспособленная для тайных дел, кнопки шелкали и включались туго, иногда кассета шуршала.

В тот же день Космач приказал «жене» не таскаться всюду с аппаратурой, а пользоваться ею лишь в исключительных случаях и с его разрешения. Однако с первого раза впрок это не пошло, через некоторое время сам услышал, как опять что-то шелестит и поскрипывает в полной груди ассистентки. А как-то раз с хозяином и его молчаливыми сыновьями пошли уголь жечь на ямах, километрах в пятнадцати, в потаенном месте и в ненастную погоду, чтоб дыма никто не заметил; неписяхи до сих пор топили зимой избы специальными печами без труб и только углем, чтоб не выказывать своего скита. Ириней умышленно позвал с собой, чтоб в отдалении от зорких старичков поговорить по душам, но ассистентка увязалась за ними, до слез дошло, и втайне зарядилась аппаратурой.

Космача такое непослушание взбесило, едва сдерживаясь, он велел «жене» сходить домой и принести ему дождевик. Наталья Сергеевна все поняла, глазами засверкала, однако подчинилась и ушла.

И тут с Ириней будто ношу сняли, расслабился и про работу забыл, сыновей отправил на озеро сети проверять да уху варить. Видно, наедине спросить чего-то хотел, но вот смелый пытливый и ироничный человек вдруг так засмутился, что никак начать не мог: рот откроет, зальется краской, и от стыда у него то насморк, то чих откроется.

– Ты чего хочешь-то, Ириней Илиодорович? – подмигнул Космач. – Говори, не стесняйся.

Тот почихал немного, вытер слезы.

– Погибла наша жизнь. Остались мы на Соляном Пути, как пни старые, никому не нужные. Держалась Тропа, когда гонения были, когда нас живьем в огонь кидали, в землю закапывали. Когда проклятия слали, дома жгли, чтоб из лесу выселить. А сейчас ничего старого не осталось, выходи и живи. Верно старцы говорят, уходите из лесов надобно и не бояться мира. Ну, ежели в тюрьме токмо помучают малость...

Нечто подобное он слышал в прошлом году от старшего Углицкого...

– Чем помочь тебе, Ириной Илиодорович?

– Ты ведь ученый муж, знаешь, как бы мне записаться и документ выправить? Иль помоги, иль научи хотя...

– Зачем тебе в Полурадах документ? Выйти хочешь?

И прорвало Ириная:

– Тебя обмануть – Бога обмануть. Токмо не выдавай меня матери и старикам нашим. Они еще надеются... При твоей жене говорить не хотел, сболтнет не подумавши... Уйти я хочу. Сыновья вон поднялись, жмут меня – на люди хотят. Они ведь твоих лет, а неженатые. Откуда я им невест приведу? Ходил уже не раз, да каких надобно сыновьям своим не нашел. То бесплодные, то перестарки, то рода худого. Вот беда&то, Юрий Николаевич!.. Аэропланы над нами уж сколько раз пролетали, а оттуда все видать... Чего мы прячемся&то теперь, уголь этот жжем, каждый раз по новому месту ходим, чтоб тропинок не натоптать?.. Давно уж нет Соляной Тропы, не тайно живем, а далее бежать некуда. Край света! А ежели не тайно, чего же в лесах&то сидеть? Сонорецкие старцы сорок лет тому писали, кончается наше великое сидение и затвор, готовьтесь в мир уйти... Да кто их послушал? Всяк себе князь, ворочу что хочу. Дед мой, Аристарх, наказывал: посидим на озерах, укрепимся и скопом выйдем. Не получился скоп, ибо древлего благочестия не сберегли, разбрелось стадо без пастыря...

Таких длинных речей он, пожалуй, в жизни не говорил, потому сразу выдохся и умолк. Космач как историк обязан был соблюдать нейтральную позицию, не вмешиваться в процесс, не тормозить и не подталкивать явления, происходящие вокруг, однако к тому времени уже хорошо знал, чем заканчиваются подобные выходы в мир.

У большинства старообрядцев, лет триста спиртного не пробовавших, как у чукчей, в крови полностью отсутствовали ферменты, расщепляющие алкоголь. Стоит выпить такому стакан, дня три ходит пьяный и еще столько же страдает похмельем, и потому удержу не знает, многие кержаки, дорвавшись до запретного, напрочь спивались за год-два.

Космач разубеждать Ириная не стал, лишь сказал грустно:

– Выйти&то можно, а куда пойдешь?

– В нефтеразведку пойду, – уверенно заявил тот.

– Да тебе ведь под шестьдесят, Илиодорович. На работу не примут: пенсионный возраст.

– Записываться стану, так лет двадцать сброшу. Адриан Засекин вышел, Гермогешка Литвин из Крестного Дола... Оба старше меня будут, а скинули лета свои, отсидели в тюрьме по году, ныне живут и радуются. Ходил я к ним в Напас, тайно от своих, конечно... Все поглядел, электричество, машины разные, жизнь ихнюю. Старцы все предсказали, так оно и есть, а мы все дико живем! И даром ведь, даром...

Это был крик души.

– Но тебя сразу посадят, и сыновей, и жену... И дочку.

– Я ведь почему к тебе&то и обратился, Юрий Николаевич, – Ириной голову повесил, – как бы документ получить, чтоб не сидеть? Мне ладно, я стерплю и тюрьму. Жену и дочь жалко...

Пожалуй, лет двадцать уже как старообрядцев оставили в относительном покое. Не расстреливали целыми поселениями за пособничество белобандитам, как было до сороковых, не выкуривали из скитов, сжигая дома и постройки, чтобы провести полную коллективизацию, не гоняли этапами через тайгу, чтобы поседеть в больших деревнях с обязательной ежедневной отметкой в комендатуре. Теперь наказывали весьма скромно – принудработами и штрафами, однако до сих пор власти проявляли неистребимую обиду на толк непишущихся странников, и как только кто из них объявлялся, его препровождали в город, где помещали в спецприемник месяца на два, брили бороду, фотографировали, снимали отпечатки пальцев и устраивали проверку личности, объясняя тем, что беглые зеки часто выдают себя за неписаных и получают паспорта на другое имя.

Как над ними издевались и потешались в камерах, можно сравнить лишь с муками адскими. После всех унижений эти наивные, чистые люди уж и не рады были, что вышли из лесов, но страсти на том не кончались: впереди их ждал неминуемый срок в один год за нарушение паспортного режима.

Путь в мир, впрочем, как некогда и из мира, лежал через неволю и пытки – как раз это обстоятельство и натолкнуло Космача на мысль, которая впоследствии оформилась в некий закон *несоразмерности наказания*.

Ириной сходил к кедру, под которым трапезничали и прятались от дождя, принес котомку и смущенно добавил:

– Ты не думай, Юрий Николаевич... Я ведь знаю, тебе не даром достанется...

И положил на колени потускневшую золотую братину, опутанную тончайшей и черной от времени и пыли филигранью.

Вещь была древняя, царская и потрясающая по красоте.

– Ничего себе! – без задней мысли изумился Космач, поднимая тяжелый сосуд. – Вот это да!.. Откуда у тебя такая штука?

– Да от Авксентия досталась.

– Какого Авксентия?

– Нашего. Углицкого. Денег у меня нету, так возьми братыню.

– Это что, твой дед?

– Старый дед...

– Неужели ты готов отдать мне такую драгоценность?

– Ну дак денег&то нету...

– Хоть понимаешь, что отдаешь?

– Братыня у нас называется...

– Ириной Илиодорович, да ты с ума сошел! И куда я с ней? На базар?

– А это ты знаешь, ученый...

– Если только покажу кому&нибудь, меня посадят сразу! Или вообще убьют...

– Почему эдак&то? Я ж тебе подарил...

Космач сунул братину ему в руки:

– Не искушай меня, Ириной. И объяснять тебе ничего не буду. Забери! И больше никому никогда не показывай!

Тот растерянно помолчал, вздохнул тяжело:

– Да ты что, Юрий Николаевич, не хочешь жене с дочерью документ выправить? Ну, чтоб в тюрьму&то не посадили?

– Не в том дело! Ты еще в мир не вышел, а уже заразы его где&то нахватался. Вот кто тебя научил дать мне эту братину?

– Гермогешка Литвин сказал, – на глазах увядал Ириной. – Говорит, надо человека найти, кто похлопочет, или самому пойти и чего&нибудь из старого подарить... Я сам дак не могу, а ты ведь не сробел бы...

– Чтоб не сесть и паспорт получить, надо не золото, а метрику, – попытался втолковать Космач. – Были бы у тебя какие&нибудь справки, бумаги с печатями, свидетельства... Вы же сразу идете к нефтеразведчикам в Напас, а там вы чужие, понимаешь? Там люди все приезжие, временные, горделивые и милиции много, поэтому хватают вас и сажают. Ты же не раз ходил на Енисей, к своим? Вот и зашел бы в воротилковский сельсовет. Там председатель из ваших. Договорился бы с ним.

– Не пойду я к нему, отступнику. – Ириной направился к угольным ямам. – Многих странников продал...

В тот же день, ближе к вечеру, с лошадьё в поводу пришла Вавила. И пока отец с братьями засыпали уголь в мешки, а потом выючили ими коня, сама подошла к Космачу, сказала тихо, глядя в землю:

– Батюшка с вами отправить хочет, чтоб я училась по-мирскому. Будет просить – не бери меня, не соглашайся.

– А если соглашусь и возьму?

– Убегу.

– Учиться не хочешь?

– Хочу, – обронила боярышня, скрывая вздох. – Уж больно мне любопытно, как в миру живут ныне. Вот гляжу на тебя, на жену твою. Вы ведь токмо здесь на нас похожи, а в городе другие... Или вот аэропланы летают высоко, так на крестики похожи, а коль на земле увидишь, может, впрямь анчихристова машина? Или вот спутники летают – истинные звездочки... Учиться я хочу, да горько мне будет на ваше счастье глядеть.

И пошла к родителю.

Так и не взглянув, взяла завьюченного коня в повод и ушла другим путем, чтоб не набивать следа...

Только через сутки, к вечеру следующего дня, и слова не сказав за все это время, Ириной перебулся из лаптей в бродни, котомку с братиной прихватил.

– Ну, паря, айда со мной. Бумаги&то есть, с печатями. Должно, и на детей тоже...

– Так чего же ты молчал?

Для странников пятнадцать верст туда-сюда за расстояние не считалось, скорым шагом через два часа прискочили в Полурады. Ириной оставил Космача на берегу, сам убежал в хоромину и через некоторое время вернулся довольный.

– Вот, принес бумаги...

И достал из-под рубахи вещи, поразившие еще больше, чем золотая братина с царского стола, – два пергаментных свитка с деревянными подпечатниками на оленьих жилках и даже с остатками вещества в углублениях, напоминающего черный сургуч.

В одном значилось, что ближний боярин и сродник князь Андрей Иванович Углицкий, привезший заморскую невесту государя Софью вкупе с венком на корабле и доставивший ее вместе с обозом в стольный град, отныне и до скончания жизни освобождается от всяческих повинностей перед казной, а малолетним детям его Дмитрию и Алексею сказывается введенное боярство, кои обязаны по достижении отцом преклонных лет принять от него в управление казну греческую харатейную.

Второй грамотой царь Иоанн Васильевич жаловал земли по Истре и пятьсот душ думному дьяку, боярину Нестору Углицкому, обязывая его обустроить сию вотчину храмами, мельницами, мостами и переправами.

– Ириной, так ты что, боярин? – искренне изумился Космач.

– Да какие мы бояре, – вздохнул тот. – Странники...

– Не боярин, так князь! А этот родовой титул навечно дан.

– Что ж ты потешаешься, Юрий Николаевич? Нам и места на земле нет...

– Как же нет? А вот земли по Истре и пятьсот душ крепостных!

Лесные скитальцы мирского юмора не понимали вообще, хотя свой, внутренний, у них существовал и, напротив, был непонятен мирским. Ириной взбагровел и набычился.

– Ты мне подскажи... Куда с бумагами идти? А не смейся.

– С этими никуда. Разве что в музей сдать, вместе с братиной.

– Нехорошо говоришь, паря...

– Ты же взрослый человек, боярин! Там же не написано, что ты родился! И кто родители.

– Дак чего писать, я так помню.

– Что ты помнишь?

– У Авксентия было четверо сыновей, мы пошли от Савватая Мокрого, а он как раз отец Нестора.

– Ну и что?

– Да как что? Люди же и подтвердить могут. У Нестора было девять детей мужского полу от двух жен, так мы пошли от первой, Ефросиньи. Потом был Иван Углицкий Рябой, а от него Ириней и Фома. Фома стал Рябой прозываться, а мы от Иринея, так Углицкие. На Кети есть Хотина Прорва, а там Селивестор Рябой. Однажды сбежались на тропе да побаили о старом житье – сродник наш. От Иринея пошел Феодосий Углицкий, коего при Никоне на дыбу вешали, огнем жгли и потом плетями забили. Селивестор засвидетельствовать может, он записанный, документ имеет и живой пока. А в Воротилово я не пойду. Тамошний начальник хоть из кержаков, но худого рода, жидкий совсем. Он наших много под тюрьму подвел. Лет пять тому Никодим Голохвастов ему объявился...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.